

Ш 1

Д 676

СССР



Литературоведение и языкознание

О. А. Донских

К истокам языка



Ш1
Д. 678



АКАДЕМИЯ НАУК СССР
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

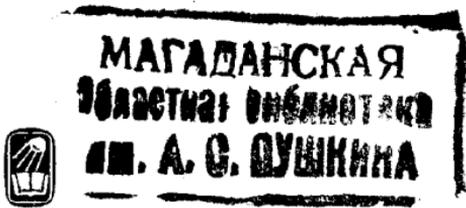
Серия «Литературоведение и языкознание»

О. А. Донских

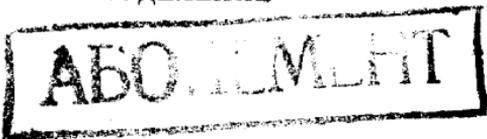
К истокам языка

Ответственные редакторы
доктор философских наук
А. Н. КОЧЕРГИН
доктор филологических наук
М. И. ЧЕРЕМИСИНА

850973



НОВОСИБИРСК
«НАУКА»
СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
1988



ББК 81
Д67

Рецензенты

доктор философских наук В. З. Коган,
доктор филологических наук А. И. Федоров

Утверждено к печати
Институтом истории, филологии и философии СО АН СССР

Д67 Донских О. А.
К истокам языка. — Новосибирск: Наука. Сиб.
отд-ние, 1988. — 192 с. — (Серия «Литературоведение и языкознание»).

ISBN 5—02—029070—X.

Эта книга — разговор о поисках начал человеческого языка. Его ведут любознательные дилетанты, которые шагают по тропам, намеченным философами, лингвистами, биологами, археологами и антропологами. Путешественникам открываются горизонты истории культуры, которые очерчивали кругозор прежних исследователей, и перед ними возникают миражи, которые заставляли тех идти ложными путями. Ориентируясь на достижения современных наук, участники беседы прокладывают и свои, оригинальные маршруты.

Для широкого круга читателей.

4602000000—256
Д 042(02)—88 76—88 НП

ББК 81

ISBN 5—02—029070—X

© Издательство «Наука», 1988

Введение в высоком стиле

*И весь мир заключен в малой частице
воздуха,
на устах наших зыблющегося.*
А. Радищев

Величайшая загадка языка — в его естественности. Он так же привычен и незаметен, как дыхание. Мы можем говорить обо всем. Но далеко не всегда задумываемся, как воспринимаемые слухом колебания воздуха могут сообщать нам о цветах, запахах, размерах и формах, известных благодаря зрению и осязанию. И еще удивительнее: язык выстраивает идеальный космос человеческого духа, складывая его из неосязаемых кирпичиков-смыслов: «справедливость», «день», «сон», «красота», сам «язык» и неограниченное множество других. И мир мысли, воплощенный в «утлом звуке», расцветает и утверждается наряду с миром природы.

Когда древнегреческие мыслители осознали природу, язык и разум, они противопоставили меняющуюся, текучей природе устойчивый мир идей и провозгласили его единственной реальностью, достойной изучения, ибо в ней — смысл бытия. Ведь любой человек — постольку человек, поскольку он воплощает природу человека вообще. А справедливый поступок справедлив лишь потому, что выражает справедливость как таковую. Но в окружающем нас мире есть только конкретные люди и конкретные поступки и нет ни человека вообще, ни справедливости самой по себе. Мы можем говорить о них, не имея возможности на них показать. Они существуют только благодаря языку, исчезающим в момент своего появления звукам. В речи мы как бы прикасаемся к понятиям, ощущаем идеальное.

Мы говорим: «Мне в голову пришла прекрасная мысль», «Я никак не могу схватить нить вашего рассуждения», «То, что он говорил, представлялось мне тогда нагромождением чепухи»... Язык превращает идеальные, бесплотные понятия в то, что может передвигаться, громоздиться, течь, представляться, выгля-

деть великолепно или отвратительно. И мы не испытываем при этом никакого *видимого* неудобства. Напротив, идеальное как бы *приближается* к нам, *входит* в нас, *делается* более интимным. Но *не делается* покорным и изменчивым, хотя человеку и кажется, что он властвует над своим духовным миром, меняя его по своей прихоти. На самом деле даже величайший гений не может произвольно установить значения слов или отвергнуть систему надежд. Нигде не существуя, язык прекрасно защищает себя во имя сознания и понимания.

Именно благодаря речи, умению быть со-беседниками, мы со-знаем мир, мы вместе знаем его. Язык со-размерил природу с человеком, а человека с самим собой. И все это сделали такие простые, растворяющиеся в воздухе звуки. Они легко подняли на своих невидимых крыльях мир человеческой культуры и понесли его из прошлого в будущее.

Но представление о прошлом, как и представление о справедливости, не возникло бы без языка. Оно оттачивалось культурой на протяжении тысячелетий. А где тот момент в прошлом, когда возник сам язык? Это изумительное, формирующее мир идеального творение культуры? Когда он появился и каким он был в момент рождения, пытались выяснить философы и лингвисты, биологи и историки. И в этой книге рассказывается о попытках проникнуть в тайну возникновения языка.

* * *

Автор выражает глубокую благодарность тем, кто помог ему в работе над рукописью: профессорам М. И. Черемисиной и А. И. Федорову за интересные содержательные замечания, ученые при доработке книги; редактору издательства «Наука» Ю. П. Бубенкову, который вложил много труда, чтобы стиль книги был как можно менее наукообразным; художнику В. Степанову за искреннее желание сделать веселее книгу на в общем-то серьезную тему.



Введение в обычном стиле

*Для общих благ мы то перед скотом имеем,
Что лучше, как они, друг друга разумеем,
И помощью слов, как мысль ни глубока,
Описываем все и чувства и страсти,
И мысли голосом делим на мелки части.*

А. Сумароков

Итак, поставлена проблема: как появился человеческий язык? Или — в более популярной формулировке — как люди начали разговаривать? Проблема эта не решена и, похоже, долго еще решена не будет. Спрашивается, о чем же тогда можно говорить на протяжении целой книги. Очевидно, о том, как искали и ищут пути ее разрешения. Это не только интересно, но и поучительно. Дело в том, что история проблемы, когда ответ налицо, — это история триумфа поисков и лишь попутно рассказ о неудачных идеях и концепциях. В известном смысле любая проблема может быть правильно поставлена, когда она уже решена. Тогда можно логически выстроить ход ее решения и проследить его в истории науки. А если ответов нет, исчезает односторонняя логика истории. Именно поэтому прошлое и настоящее проблемы происхождения языка — это пока переплетение возможных заблуждений с *возможно* верными идеями.

Не всегда можно уверенно говорить даже об общем повышении уровня анализа проблемы, поскольку нет принятого критерия его оценки. Хотя общенаучный фон обсуждения вопросов, относящихся к возникновению языка, конечно, меняется. Эти соображения и определяют своеобразие предлагаемой читателю книги: очень большое внимание в ней уделяется не только демонстрации фасада концепций как таковых, но и анализу того фундамента, на котором они построены. А в этот фундамент вместе с интересными идеями заложены ошибки, заблуждения исследователей, и часто важнее рассмотреть именно их, чем любоваться самим зданием. Поскольку же нет окончательных ответов, обсуждение тех или иных вопросов не обязательно будет заканчиваться восклицательным знаком, но и многоточием.

К концу XIX века сложилась традиция упрощенно излагать проблему появления языка. Дело сводится к перечислению теорий — междометной, звукоподражательной, теории общественного договора, трудовой и др. Эта традиция жива, и, чтобы убедиться в том, достаточно заглянуть в любое сочинение под названием «Введение в языкознание» или «Книга о языке». Но термин «теория» к таким продуктам человеческой мысли чаще всего неприменим. Это, попросту говоря, скорее придумки, сказочные картинки, и вписать их в реальную историю человечества невозможно, хотя рассказывают эти сказки не старые няни, а серьезные дяди, и не детям, а взрослым, и не языком сказочников, а тяжеловесным языком науки.

Не так давно вышла, например, книга А. Вержбовского «Основы всеобщей этимологической грамматики языков Земли»¹. В ней утверждается, что «все когда-либо существовавшие и существующие языки Человека Разумного имеют кровно-родственное общекроманьонское происхождение (вне зависимости от одного или нескольких мест Очеловечения Примата, так как *Родовая Организация восходит к одной-единственной Пещере*, откуда она (как у Семей Пчел и т. п. организованных живых существ, приобретающих опыт в борьбе за выживание) была разнесена во все уголки Земли»². (Для начала обратим внимание на перл — «кровно-родственное» происхождение языков: языки — как живые существа, подобные старательно очеловечивающимся

приматам.) Первыми словами, по мнению Вержбовского, были корневые основы — «двуосложные первосигналы звукоподражательного происхождения». Возникли они у членов очеловечивающейся общины. Слова тогда разбивались на две группы. Первая группа слов — для называния «устрашающих сил природы»: 1) ГаН... → → РаН «для называния Грома при Заходе/Восходе Солнца...»; 2) МаН... — «для Летающего Дракона»; 3) ДаН! — «для выражения младшими членами Очеловечивающейся Общины радости, что зверь убит, принесен и брошен на съедение детям»³. Вторая группа — это собственно человеческие сигналы (о «Летающем Драконе», выходит, могли рассуждать и животные). Их шесть. Это титулы первопещерных «...разно(по)коленных обитателей по производственным функциям. 1) 'аМ → 'ан — титул прародительниц, призываемых «Сторожевой Самкой накормить сосущих наимладших плакс»; 2) 'аС — наимладшие; 3) 'ай/'ав — «Колено Внучатных Плакс... подлежаемых опеке на Южной Стороне Всей Пещеры и обучаемых самками...»; 4) 'аЛ/'аР — титул ребят, которые «уже загоняли зверей криками... для убивания Старшими в ловчих ямах»; 5) 'аГ — «Старшие Дети»; 6) 'аБ — «Первоколенные мужчины», которые «составили дружину охотников, вооруженных *наитяжелейшими* камнями (со стуком 'аД!) и *тяжелейшими* камнями (с песчаниковым стуком 'аБ!)»⁴. От стука «наитяжелейших» камней и родилось имя первочеловека Адама.

Итак, описаны первые девять слов человеческого языка. Это не меньшее достижение, чем дешифровка египетских иероглифов. Мировая сенсация! Но такое событие прошло незамеченным, потому что «внучатные плаксы» — не наука, а сказка для взрослых. Ведь результаты подобного исследования невозможно проверить. Почему обитатели пещеры должны были давать имя летающему дракону, а не саблезубому тигру? Однако сказка эта издана в качестве научного труда, и на это нельзя не обратить внимания. Можно, конечно, возразить: мало ли кто и что напишет и напечатает, стоит ли реагировать! Наука должна такие явления игнорировать и идти своей дорогой. Разумеется, так и бывает. Но появление таких работ симптоматично. Они указывают на то, что данная область знания еще не оформилась в нау-

ку, что в ней не сложилась соответствующая парадигма. Сомнительно ведь, чтобы современный биолог смог опубликовать фундаментальный труд о самозарождении мышей и лягушек, а физик — новые аргументы в пользу качественного отличия подлунного мира от надлунного. А о происхождении языка оказалось возможным издать — причем в сопровождении положительных рецензий! — цитированные перлы.

Понятно, что произошло это не случайно, и следует объяснить сей прискорбный факт. Некоторые соображения и выносятся на суд читателя.

Недостатки науки — продолжение ее достоинств. Строя свои концепции, сложное и непонятное наука сводит к простому и очевидному. Правда, иногда к слишком простому и очевидному! Такая *сверхпростота* характерна для многих картин, написанных на тему происхождения и ранней эволюции языка: то язык предстает как случайный набор раздражательных выкриков, то история становления человека вместо нескольких миллионов втискивается в рамки нескольких тысяч лет, то... А в итоге ученый превращается в сказителя.

Причины появления сказок в данной области знания по крайней мере две. Первая: ученый, воссоздающий картину возникновения языка, владеет только данными своей узкой области, привлекая другие от случая к случаю. Так, вся история и предыстория языка выстраиваются на основе материалов письменных языков. Но период письменности — это пять с небольшим тысяч лет, и судить по ней о языках, на которых говорили десятки тысяч лет назад, нельзя. Вторая: излишнее доверие к здравому смыслу. Кажется, например, очевидным, что первый язык был проще современного, а из этого делается вывод, что он (1) содержал меньше слов, (2) не имел грамматики, (3) звуки были проще и их было меньше и пр. Эти постулаты легко развернуть в панораму того, как несколько десятков простеньких звуков, обозначающих простенькие вещицы, превращаются в современные языки. Все будет выглядеть логично. Но и неверно. Хотя бы потому, что четко оформленные слова с фиксированными значениями — это результат, а не исходный пункт эволюции.

Упрощенный или чересчур *здравосмысленный* подход к проблеме рождает сочинения, которые не имеют

серьезной научной ценности. Судя по всему, они могли бы ее иметь, появившись лет триста назад, но в XX веке они явно отстают от возможностей науки. А сфера этих возможностей неуклонно расширяется, хотя проблема и далека от разрешения. Очень многое изменилось в нашем понимании эволюции человека, его культуры и физической организации, поведения животных, языковой способности. И можно думать, что в конце XX века произойдет радикальный пересмотр как философских, так и естественно-научных оснований анализа проблемы происхождения языка. Но этот пересмотр затрудняют разные обстоятельства, в том числе и *шум*, создаваемый «сказочными» сюжетами.

Но до тех пор пока сказка закрыта *сероземом* стилем, ее тяжело увидеть. К примеру, можно найти нечто вроде следующего: «Уже в процессе реализации ограниченных практических возможностей человека, подавляемого необходимостью осуществлять стратегию выживания, язык с самого начала выступает как результат совокупного действия ряда условий психофизической организации человека. Первые слова возникали на основе существующей в природе вещей не опосредованной сознанием корреляции между физиологически детерминированными проявлениями голосовой реакции и звуковыми впечатлениями от объектов окружающей среды. В первобытных условиях вышеназванная корреляция играла выдающуюся, несопоставимую с современным ее значением роль...»

То, что написано таким стилем, естественно, выглядит как результат многотрудных размышлений и может быть названо, скажем, «звукоподражательной теорией происхождения языка». Но честнее это сказать так: «Было оно давным-давно. Люди жили тогда трудно и нерадостно. Вот только слова были у них новые-новые, яркие, как солнышко, звонкие, как весенняя капель. И слышались в них все голоса природы...»

Поэтому и родилась мысль: представить некоторые «сказочные» исследования в том виде, который больше соответствует их существу. В эксперименте задействовано пять работ, выбранных по двум критериям: 1) они были опубликованы в XX веке; 2) в них реализованы самые ходовые стереотипы. Но сразу же следует оговориться: переложенные работы далеко не самые слабые или неинтересные в общем потоке сочине-

ний на тему происхождения языка, об их хорошем качестве говорит уже сама ясность концепций, а необычная форма, разумеется, не освобождала меня от необходимости следовать логике архетипов, в чем легко убедиться, заглянув в Примечания.

Смысл перевода в иную форму определяется тем, что при такой операции обнажается искусственность соответствующих построений, их пригнанность к случаю. Разумеется, это может расцениваться и как способ критики. Да, но критики не самих работ, а отражаемых ими стереотипов. Кстати говоря, у этого приема почтенная история: в свое время им пользовались эпикурейцы в споре с платониками.

Платон, размышляя о соотношении слов и вещей, пришел к выводу, что первые слова были придуманы ономотетатами — мудрецами, которые отразили в именах сокровенные значения вещей. А Эпикур и его ученики попытались увидеть, как создатель имен мог научить немых людей языку. Так, эпикуреец Диоген Эноандский писал: «Ибо смешно, более того — смешнее всего смешного, и помимо того невозможно было бы одному собрать такие множества... а собравши, обучать по образцу школьного учителя и, взяв в руки указку и прикасаясь к каждой вещи, приговаривать, что это де пусть называется *камень*, а это — *дерево*, а это — *человек*»⁵. Здесь результат, полученный Платоном, вписан в историческую перспективу. Эпикурейцы представили, как логическая схема платоников выглядела бы на самом деле. Как это могло *быть*? Словом, эпикурейцы сделали рассуждение об ономотетате *как бы было, былиной*. И предлагаемые переложения следуют тому же принципу. Но былина — форма эпическая и слишком поэтому обязывающая, лучше назвать их *былинками* — вольными повествованиями о *как бы случившемся*.

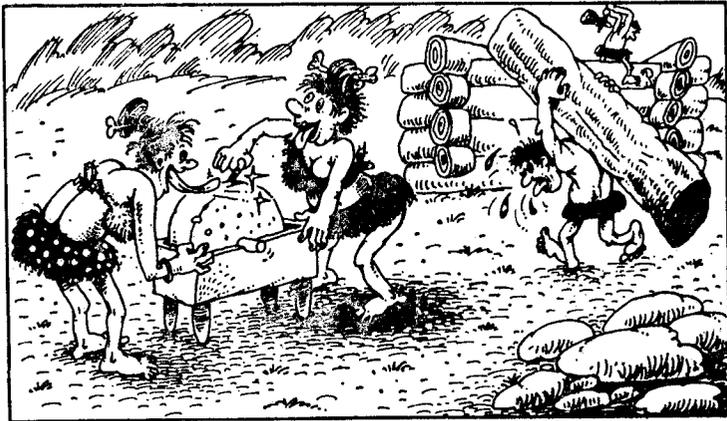
Еще один принципиальный момент. Когда говорят о возникновении языка, редко уточняют, что имеют в виду под словом «язык». А ведь значение его вовсе не очевидно. «Язык» в рамках данной проблемы может пониматься: (1) как языковая способность (не до конца понятый видовой признак человека, который позволил ему создать и поддерживать знаковую систему языка), (2) как коммуникативная деятельность (способ общения, характерный именно для человеческого

общества) и (3) как система знаков (то, что составляет предмет языкознания). Если, допустим, речь идет об изучении образа жизни первобытного человека, организации его охоты, производстве орудий, быте и т. д., то обсуждаются более-менее аргументированные предположения о средствах общения и способах их употребления. Но реконструируется ли при этом языковая способность или знаковая система? Определенно — нет. Речь может идти только о способе общения, т. е. о коммуникативной деятельности. Лингвист же пытается реконструировать именно систему знаков (что и сделал, например, А. А. Вержбовский). Антрополог восстанавливает языковую способность, но ничего не может сказать о бывшей тогда в ходу знаковой системе. Поэтому результаты их исследований, хотя они все относятся к «языку», несопоставимы.

Таким образом, совершенно необходимо знать, какое значение придается слову «язык», когда имеется в виду его происхождение.

И наконец, последнее соображение. Проблема происхождения языка входит в предмет многих научных дисциплин. К истокам языка нас поведут археологи, антропологи, этологи, лингвисты, этнографы, философы и пр. Но сколько-нибудь полного представления о возникновении языка ни один из них дать не может. Все они, профессионально рассуждая в рамках своего предмета, многое за этими рамками вынуждены принимать на веру, причем без достаточного на то основания. Ведь подлинно универсальной теории до сих пор не создано. И потому оказалось логичным представить поход к истокам языка как путешествие дилетантов, любителей. Дилетантизмом участников объясняется тот факт, что их беседу сопровождают цитаты из сочинений сухих специалистов: беседа эта все-таки претендует не только на занимательность, но и на ученость. Наши путешественники по очереди берут слово и делают своими знаниями. Среди них есть сказочник, который перекладывает некоторые темы в былинки, не давая беседе стать чересчур серьезной.

Представим же, что язык — это река, текущая к нам из глубины веков, а мы — любознательные путешественники, пытающиеся проникнуть к ее истокам.



Глава первая

Прогулка по истории, или В лабиринтах здравого смысла

(Рассказ философа)

*Вот стадо перевозанных слов,
Качаясь, в бездну зашагало,
Вминая в глину гул шагов,
Как в основание пьедестала.*

Я. А. Демян

Былинка про болтливых жен и первую городьбу¹

Каждый, конечно, волен говорить все, что вздумается. К примеру, что язык у человека был всегда. Да и так ясно, что, когда предки наши жили в степях и пустынях или на северных островах, до языка ли им было? Кто-то заплакал, кто-то вскрикнул, кто-то икнул — всем само собой понятно. Да и с кем говорить-то: жена да дети! С дитем толковать — какая нужда: показал, что и как делать, — и делай. А не сделал — пори. Оно сразу понятливым станет. А жена — и вовсе должна все на легу хватать. Потому и вышло, что, пока семьями по земле бродили, говорить было не с кем да и не о чем.

Конечно, незатейливые речи и тогда вели: «Дай!», «Молчи!» и пр. Мужикам это удобно, а жены, так те сильно тяготились. Вот, значит, терпели они, терпели да и не сдюжили: болтать начали. Начать-то начали, а с кем опять же? Муж не слушает, детям не интересно. Остается — с самой собой. Все какая ни на есть одушиная!

А жизнь-то шла. Тем временем кормильцы затеяли морского зверя бить. В одиночку, понятно, охотиться несподручно. Вот и удумали они в артели сбиваться да рядом семиться. Тут-то жены и отвели душу: мужья — на охоту, они — языки чесать!

Одни, значит, охотились, другие судачили, а море сошло и острова росли и сходились меж собой. Прошло этак тыщ пять лет — и на тебе: люди уж не семьями, а селеньями живут. Пришлось мужикам города городить и государства налаживать. Вот тут и сгодился женский опыт по части говорения. Если сперва жены не больно ясно выражались, то за тыщи-то лет навострились. Слова короче стали, и опять же какие из них целиком говорили, а какие — самые привычные — кусками. От тех-то кусков и пошли всякие нынешние приставки и прочая мелочь. В общем, когда речь сделалась потолковой, и мужикам поговорить не зазорно стало. А как говорили они и города при том строили, слова «болтать» и «городить» стали значить одно и то же. Города же, известно, нагородили не так уж давно, и, выходит, что язык придумали тогда же. Ну разве чуть раньше. Всего-то каких-нибудь семь-восемь тыщ лет тому назад.

Предварительное замечание

— Назвать предмет моего рассказа историей исследования проблемы происхождения языка не совсем верно. Дело в том, что корректное воспроизведение истории любой области человеческих исканий естественно захватывает едва ли не всю историю культуры. Тем более это верно в отношении языка — стержня духовной жизни. Иначе говоря, если я, например, хочу объяснить, а не просто констатировать, почему в Древней Греции появилось учение о грамматических родах — мужском, женском и вещном, то могу ограничиться

утверждением, что этого потребовало широкое распространение грамотности в раннеантичных полисах, или сказать, что любознательность древних греков заставляла их подвергать осмыслению все окружающее — как природные, так и культурные явления, в том числе, разумеется, и язык. Но достаточно ли будет таких объяснений? Строго говоря, нет. Ведь нужно еще проследить зависимость между распространением грамотности или привычкой все переосмысливать и таким вот суждением о языке: «В нем имена принадлежат к трем родам». Ведь, скажем, в Египте и Вавилоне при подготовке профессиональных писцов грамматические классы не были открыты. Значит, нужны более точные объяснения.

Можно, конечно, соединить высказанные аргументы и утверждать: к этому открытию привели грамотность всех свободных граждан (а не только касты писцов) плюс духовная активность, направленная на размышления обо всем. Но это рассуждение слишком общо: оно не объясняет, почему именно софист Протагор в V в. до н. э. открыл в греческом языке существование трех родов. Хотя, видимо, без отмеченных явлений открытие наверняка бы не состоялось. Словом, еще нужно понять, как данные факторы действовали в конкретных условиях жизни Древней Греции VI—V вв. до н. э., как они отразились в реалиях духовной культуры. И здесь придется говорить о принципах землепользования, о возрастающей роли писаных законов, о полисном стиле жизни — обязательном участии в религиозных и светских действиях, прениях на агоре, спортивных состязаниях и т. д. Получается, что объяснение одного частного факта заставляет охватывать все большую сферу явлений, разрастающуюся и во времени, и в пространстве. Так что мало-мальски правдоподобная реконструкция даже самого скромного фрагмента действительной истории требует огромной эрудиции и интуиции.

Не могу сказать, что в полной мере обладаю этими качествами, а поэтому поставлю перед собой задачу более скромную: я попытаюсь лишь представить тот путь, которым могли бы идти, а может быть и шли древние и новые ученые. Надо заметить, что в науке, говоря об истории той или иной проблемы, так поступают довольно часто: некоторые факты спрессовывают

в изобретенную схему, что делает описание эволюции идей этакой здравосмысленной логикой, а не описанием реального, противоречивого и неоднозначного, процесса. Естественно, что хронологические границы не будут меня особенно смущать, и прошу вас также не смущаться их нарушениями.

Тропа Псамметиха

*...Родители отнесли его, младенца, на
Гиметт...
И вот, пока он лежал, к нему слетелись
пчелы
и наполнили его рот медовыми сотами,
чтобы воистину
сбылись о нем слова: «Речь у него с языка
стекала
сладчайшая меда».*

Олимпиодор.

— Не только первые путешествия к истокам языка, но и предпринимаемые в наше время отмечены одной особенностью — неистребимой верой во всецелое здравое смысла. Под «здравым смыслом» я понимаю веру в очевидное. А язык так привычен, что, кажется, не может быть в чем-то непонятным. И разум начинает идти на поводу у очевидностей. Но последствия этого бывают самые невероятные — вроде того, которое традиционно именуется «царским экспериментом». Классическое описание одного из них — может быть, даже первого — дал Геродот в своей «Истории»:

«Египтяне... до царствования Псамметиха считали себя древнейшим народом на свете. Когда Псамметих вступил на престол, он стал собирать сведения о том, какие люди самые древние. С тех пор египтяне полагают, что фригийцы еще древнее их самих, а сами они древнее всех остальных народов. Псамметих, однако, собирая сведения, не нашел способа разрешить вопрос: какие же люди древнейшие на свете? Поэтому он придумал вот что. Царь велел отдать двух новорожденных младенцев (от простых родителей) пастуху на воспитание среди стада коз. По приказу царя никто не должен был произносить в их присутствии ни одного сло-

ва. Младенцев поместили в отдельной пустой хижине, куда в определенное время пастух приводил коз и, напоив детей молоком, делал все прочее, что необходимо. Так поступал Псамметих и отдавал такие приказания, желая услышать, какое первое слово сорвется с уст младенцев после невнятного детского лепета. Повеление царя было исполнено. Так пастух действовал по приказу царя в течение двух лет. Однажды, когда он открыл дверь и вошел в хижину, оба младенца пали к его ногам и, протягивая ручки, произносили слово „бекос“. Пастух сначала молча выслушал это слово. Когда затем при посещении младенцев для ухода за ними ему всякий раз приходилось слышать это слово, он сообщил об этом царю; а тот повелел привести младенцев пред свои царские очи. Когда же сам Псамметих также услышал это слово, то велел расспросить, какой народ и что именно называет словом „бекос“, и узнал, что так фригийцы называют хлеб. Отсюда египтяне заключили, что фригийцы еще древнее их самих. Так я слышал от жрецов Гестаста в Мемфисе. Эллины же передают об этом еще много вздорных рассказов, и, между прочим, будто Псамметих велел вырезать нескольким женщинам языки и затем отдал им младенцев на воспитание»².

В достоверности этого события могут быть высказаны серьезные сомнения, поскольку живший в VII в. до н. э. фараон Псамметих I стал героем многих легенд. Ему приписывается множество деяний вроде того, что он мерил глубину истоков Нила лотом длиной в несколько тысяч сажен и не достал дна, и пр. Но мне важно в первую очередь то, что рассказ о детях, никогда не видевших хлеба и начавших просить его на фригийском языке, Геродот считает вполне согласным со здравым смыслом.

Здравый же смысл убеждал, что дети, выросшие вне общества, заговорят. И не просто заговорят, но язык их будет правильнее существующих языков, так как он будет единственно истинным, первым языком. Считалось, что язык скрыт в человеке, как злак в семени: вырасти его, и он предстанет во всей своей красе. И будет выгодно отличаться от своих диких сородичей. Так и язык — со временем портится, теряет благородство и ясность, и сохраняется только у какого-то одного народа.

Но может быть, это было очевидно только в VII—V вв. до н. э.? Нет. Эксперимент повторяется в истории не единожды и, похоже, порой независимо от египетского образца. В I в. н. э. римский учитель риторики, автор знаменитого учебника, Квинтилиан говорит: «...по сделанному опыту воспитывать детей в пустынях немymi кормилицами доказано, что дети сии, хотя произносили некоторые слова, но говорить связно не могли»³.

Казалось бы, здравосмысленные утверждения опровергнуты. Но опыты проводят вновь и вновь. В XIII веке эксперимент повторяет германский император Фридрих II. Его опыт не удался: дети умерли, не заговорив. В XVI веке опыт повторяют король Джеймс IV Шотландский и хан Акбар. У Джеймса IV результат оказался на редкость «успешным»: дети заговорили «на очень хорошем древнееврейском языке»⁴, т. е. король получил то, что и ожидал.

Но самым, пожалуй, интересным стал царский эксперимент хана Акбара. Автор «Общей истории империи моголов» (Париж, 1705), подробно описывая его, перечисляет и родные языки собранных ханом мудрецов. Акбар «захотел узнать, каким языком стали бы говорить дети без всякого обучения, так как он слышал, что еврейский язык был естественный язык тех, которые не были научены никакому другому. Для этого он взял двенадцать грудных детей, заключил их в замок, в шести милях от Агры, и отдал на воспитание двенадцати немymi кормилицам. Привратнику, который был также немой, запрещалось под страхом смерти отворять ворота замка. Когда они достигли двенадцатилетнего возраста... то он велел привести их к себе и призвал в свой дворец людей, знающих все языки. Один Еврей, находившийся в Агре, должен был судить, по-еврейски ли будут они говорить. Было не трудно отыскать в столице также Арабов и Халдейцев. С другой стороны, Индейские философы утверждали, что дети заговорят на Санскритском языке, который у них заменяет Латинский и который в употреблении только у ученых, изучающих его для того, чтобы понимать древнеиндейские философские и богословские книги. Но когда дети предстали перед Царя, все были поражены удивлением, они не говорили вовсе ни на каком языке. Они научились от своих кормилиц обо-

дятся без всякого языка и выражали свои мысли одними жестами, которые им заменяли слова. Они были так пугливы и дики, что было довольно трудно добиться того, чтоб они перестали пугаться чужого сообщения, и развязывать им языки, которые они редко употребляли во время своего детства»⁵.

Наш здравый смысл подсказывает нам, что сами заговорить на древнееврейском языке дети, конечно, не могли. Но, как видим, собравшимся у хана Акбара это было вовсе не так очевидно. Напротив, то, что дети не заговорили ни на каком языке, было для них потрясением.

Вполне вероятно, что была еще одна попытка, о которой рассказывает А. Сеннерт: «Некоторый Государь приказал, отделив тридцать младенцев, воспитывать их особливо; от них после не можно было услышать ничего, кроме непонятных и худо произносимых слов»⁶.

Отмечу одну деталь: скептицизм здравого смысла, видимо, усиливается, иначе трудно объяснить, почему Псамметих в VII веке до н. э. довольствовался двумя детишками, а «некоторому Государю» Сеннерта понадобилось тридцать. Но усиливается он так медленно, что еще в XIX веке о царском эксперименте можно было рассуждать вполне серьезно: «...одна Шотландская дама, стоявшая в моем доме, рассказала мне, как один из древних королей ее отечества, желая открыть первоначальный язык, отправил двух детей на один из необитаемых Гебридских островов под присмотром некой старухи...»⁷

Лично у меня наибольшее сомнение вызывает самый удачный эксперимент — тот, который был проведен Джеймсом IV. Если бы дети заговорили при мне на чистом древнееврейском или на другом столь же славном языке, я был бы потрясен не меньше гостей хана Акбара, ибо здравый смысл тут же бы подсказал мне: это невозможно. Кстати, именно отрицательные результаты некоторых экспериментов наводят на мысль, что они действительно проводились; иначе дети «заговорили» бы на всех языках, которые в те времена считались самыми древними.

— Так что же было несомненным для тех, кто передавал из уст в уста сказания о лингвистических забавах власть держащих?

— Во-первых, то, что человек с рождения наделен способностью говорить на *правильном* языке. Во-вторых, то, что этот язык сохранился поныне у какого-либо народа. В-третьих, что остальные народы этот язык испортили. В-четвертых, что на нем говорили первые люди и могут заговорить дети, если им не мешать.

— Но на чем основывалась такая уверенность?

— Конечно, на мифологии. К ней мы сейчас и обратимся. Правда, после небольшого лирического отступления.

В грезах мифа

*И орел не взмахивал крылами,
Звезды жались в ужасе к луне,
Если, точно розовое пламя,
Слово проплывало в вышине.*

Н. Гумилев

— То, что вера в очевидное меняется, а с ней и здравый смысл, несомненно. Аристотелю казалось несомненным, что, если на движущееся тело не действует никакая сила, оно остановится. (Потому-то его последователям потребовались колоссальные ухищрения, чтобы объяснить простейший факт: почему камень продолжает движение, когда он отрывается от бросившей его руки.) Этот постулат стал одним из оснований его механики и господствовал в ней почти две тысячи лет. Но теперь нам, воспитанным на ньютоновской механике, здравый смысл говорит, что, если на тело не действует никакая сила, оно сохраняет состояние покоя или равномерного прямолинейного движения. Замечу, что этого самого равномерного прямолинейного движения никто не наблюдал, но всем понятно, что если на тело никакая сила не действует, то оно не станет менять характер своего движения. Вот вам ирония истории: стало очевидным то, чего никто не наблюдал, и неочевидным то, что пред очами.

— А для современного физика, может быть, очевидно другое?

— Почти не сомневаюсь, надо спросить у физика. Я хочу подчеркнуть другой момент (не только то, что

оценки здравого смысла преходящи): язык слишком просто нам достается. Ребенок, которого никто языку специально не обучает, начинает говорить. Он сам, слыша речь других, за какие-нибудь полтора года, в возрасте от полутора до трех лет, с легкостью овладевает практически всем богатством языка. Поэтому язык и кажется едва ли не данным от рождения, и во всем, что касается языка, здравый смысл руководителем быть не может.

— А почему ты так ополчился на здравый смысл?

— Да потому, что нигде простые суждения здравого смысла не нанесли столько вреда, как здесь. Судите сами. Возьмем понятие языка. Что это такое? Это система знаков, предназначенная для общения (я не хочу останавливаться на тонкостях различных определений). Понятие знака относится, в частности, к словам, которые несут определенный смысл, выражаемый жестко заданным набором звуков. Понятие системы означает, что слова могут соединяться в предложения только в соответствии с некоторыми правилами, что каждое слово несет грамматические характеристики (род, число, падеж и др.), а без них оно не существует. Теперь поставим вопрос: сознавали ли в древности, что язык — система знаков?

Совсем недавно я мог бы начать свой рассказ эпическим зачином: «Еще в самые давние времена, не имея никаких научных знаний, люди заинтересовались загадкой языка и тайной его происхождения. Создавались мифы о сотворении говорящего человека. Греческие философы спорили, как возникли слова — сами по себе или благодаря человеческим усилиям...» Я привел бы повествование Геродота о царском эксперименте Псамметиха I в подтверждение тезиса о древности интереса к языку. Но вот я задал себе вопрос, а что они имели в виду, когда произносили те слова, которые мы теперь переводим как «язык»? И обнаружил, что нашего представления о языке как системе знаков у них не было и в помине и быть не могло.

Мифологическое сознание языка не знает. Казалось бы, естественно в мифах, объясняющих происхождение мира, животных, человека, обычаев и др., встретить рассказ о возникновении такого полезного в обиходе явления, как язык. Но не тут-то было: в редчайших случаях язык упоминается в мифах о происхождении

человека, да и то как чисто физиологическое свойство. К примеру, папуасы маринд-аним рассказывают такой миф о происхождении людей: деды-творцы развели огонь рядом с еще сырыми бамбуковыми людьми. «От жары бамбук потрескался, и лучины разошлись в разные стороны. Так у первых людей появились руки и ноги, а на голове — глаза, уши и ноздри. Но вот раздался особенно громкий треск: „Вааах!“. Это у первых людей открылись рты, и они обрели дар речи»⁸.

Рассказ поражает эпической простотой, и, обратите внимание: язык — способность говорения — перечислен в одном ряду (!) с руками, ногами, глазами, ушами, ноздрями. Сам образ наталкивает на мысль, что главное условие речи — рот. Бамбук трескался, и появились отверстия. Появился рот — и это уже «язык».

Так же примерно виделось это древнему египтянину: «..Хотя у египтян были разные слова для выражения понятия „язык“ как физического органа и для понятия „язык“ как способности говорить, они были уверены, что речь производится непосредственно языком и для того, чтобы научиться другому языку, следует просто изменить положение языка во рту, „перевернуть“ его»⁹. Врожденной способностью язык оказывается также в индийских и китайских религиозно-философских системах, где он ставится в один ряд со зрением, слухом, осязанием и мышлением.

— Какой же смысл имело выражение «происхождение языка»?

— Возникновение рта и шевелящегося в нем языка. Еще пример: «Люди выбрались из ямы. Нггиве взял бамбуковый нож, надрезал им те места, где сейчас у людей рот, и сказал: „Теперь вы сможете разговаривать“. И тогда люди издали свой первый крик»¹⁰. До представления о языке как системе знаков, связывающих (и разделяющих) человека с миром и другими людьми, здесь далеко. Следовательно, размышляющие о «языке» идут совсем не туда, куда нам надо.

Итак, я показал, что в мифах человек появляется говорящим и говорит независимо от того, слышал ли он речь других. А это значит, что есть естественный, присущий всем язык. На нем говорили первые люди и могут заговорить дети.

— А откуда же берется *правильность* естественного языка?

— Эта *правильность*, я думаю, тоже родилась в мифологическом сознании, хотя и совсем по другим причинам. Человек родового общества верил, что слово, имя — это неотъемлемая часть предмета, личности. Без этой веры невозможна магия, немыслимы многие действия. Люди меняют имя больного ребенка, чтобы обмануть злые силы, которые его мучают. Меняют свои имена, чтобы обмануть смерть, когда она идет к ним. Знаток быта североамериканских индейцев, долго живший среди них, К. Кольден пишет: «В первое время моего пребывания у Могавков мне сделал любезность один из старых Сахемов, дав мне свое имя.. Он был известный воин,— и сказал мне, что теперь я имею право присвоить себе все подвиги, им совершенные, и что теперь мое имя будет раздаваться во всех пяти народах»¹¹. Лекарство недействительно без произнесения определенных слов: они придают ему силу. Человека «можно проклясть и околдовать его именем, так же как и его изображением. Если хотите нанести вред какому-либо человеку, то положите на порог его одежду, произнесите над нею его имя, и когда потом вы будете бить эту одежду, то ваш враг будет чувствовать каждый удар, как будто бы он был наносим по его телу»¹².

Связь имени с его носителем считается подобной связи между обрезками волос, ногтей и их бывшим владельцем. Североамериканский индеец «...относится к своему имени не как к обычному ярлыку, но как к самостоятельной части своего тела (подобно глазам или зубам) и пребывает в уверенности, что от дурного обращения с именем происходит не меньший вред, чем от раны, нанесенной какому-нибудь телесному органу»¹³. Согласно же египетскому поверью, «подлинное имя бога, неотделимое от его могущества, пребывало в его груди в прямом смысле слова, и Исида извлекла его оттуда с помощью хирургической операции и — вместе со всеми сверхъестественными способностями — пересадила его к себе»¹⁴.

Сказанное относится не только к именам собственным. Так, русские имена животных даны взамен древних названий, которые нельзя было произносить вслух, чтобы не встревожить и не разозлить их владельцев: «медведь» (мед едащий), «змея» (земляная), «волк» (волочащий) и пр.

И наконец, название считалось душой названного. Поэтому сотворение и высказывание — одно и то же. Мир создается словом — глаголом. Взять хотя бы Библию: Саваоф словами творит мир из ничего.

Все это позволяет мне утверждать следующее: во-первых, человек тогда не мог даже и помыслить, что слова — простые метки вещей, придуманные людьми для удобства, ведь было так *очевидно*, что имена — естественные спутники вещей. Во-вторых, раз имена *от природы* — они не могут быть неверными. Поэтому и верили в то, что есть он, *правильный язык*.

— Так что же все-таки мифология говорит о происхождении языка?

— Уточним: не о происхождении языка, а о происхождении имен. Только одно: то, что они возникли вместе с вещами. Соответственно и проблема происхождения языка — это проблема происхождения мира. Самостоятельно она не существует.

Кроме того, «язык» также отождествляется с народом. Вспомним Пушкина: «И назовет меня всяк сущий в ней язык». То, что для Пушкина было метафорой (или одним из значений слова «язык»), отнюдь не было ею в древних, да и достаточно близких нам обществах. Не случайно «варварами» (*barbari*) римляне называли народы, которые не говорили по-римляски — бормотали «bar-bar». Сходно с этим, как вы знаете, и происхождение слова «немец»: оно обозначало иностранцев вообще, выражающихся непонятно, как немые. Такое представление сливается (а может быть, отчасти и объясняется) с идеей правильности родного языка. Лацарус в книге «Жизнь души» приводит забавный рассказ о двух немцах, приехавших на Парижскую выставку. И на выставке один говорит другому:

— Какой странный народ эти французы! Вместо того, чтобы сказать «хлеб», они говорят «дю пэн».

Да, а мы говорим «хлеб».

— Конечно, но ведь все-таки это «хлеб»¹⁵.

Им кажется, что немецкое слово — *подлинное*, настоящее, в отличие от иностранных названий хлеба. Кстати, сам я невольно вспоминаю свои детские размышления о том, что слова «замечательно» подходят к тому, что они обозначают. Здорово, что гром называется таким звучным и резким именем: «гром», а ле-

бедь — так нежно и ласково: «лебедь». И даже мягкое «ть» на конце этого слова казалось мне похожим на всплеск. И невозможно было представить, чтобы таким приятным словом называлась какая-нибудь крыса.

Думаю, что теперь мы можем понять идеи, вдохновлявшие на проведение царских экспериментов. Отчасти они противоречат друг другу, но уж это-то меньше всего задевало здравый смысл наших предков.

Но все-таки самое важное: люди с мифологическим сознанием не могли даже поставить вопрос о происхождении языка. Если «язык» — то физиология, то вещи, то народ, — о чем вообще можно говорить? О каком происхождении?

— Видимо, об этом впервые задумались древнегреческие философы. Не так ли?

— Посмотрим. Но мифические образы еще долго будут нас преследовать.

Против здравого смысла

Нет более серьезных и более радостных людей, чем греки.

Гегель

— Рождение европейской культуры у народа, разбросанного по городкам Средиземноморья, — одна из величайших загадок истории. Но самая удивительная черта греческого ума (или, как сказали бы в конце прошлого века, «духа») — рационализм. В погоне за логикой греки отбрасывают здравый смысл, не боятся самых нелепых суждений, демонстрируют полное презрение к показаниям органов чувств. Начало этому положил первый из семи легендарных мудрецов и первый среди исторических философов — Фалес Милетский. «Относительно количества и вида такого начала не все учили одинаково. Фалес — основатель такого рода философии — утверждал, что начало — вода.»¹⁶ Обычно говорят, что своим тезисом «все из воды» Фалес заложил краеугольный камень философии природы.

Конечно, слишком много для простого смертного: вдруг, не имея образцов, начать строить философию природы, «физиологию». В нашей литературе отстаиваются две точки зрения на возникновение философии — мифогенная (выводящая философию из мифа) и гносеогенная (выводящая философию из накопленных к VII в. до н. э. «позитивных» знаний). В соответствии с первой точкой зрения, «вода» Фалеса родственна гомеровскому «Океану» — прародителю богов и мира, египетской богине воды «Нуи», вавилонской «Апсу». Согласно второй точке зрения, «вода» «физиологов» — либо итог наблюдений за ролью воды в жизни животных и растений, либо возведенный в абсолют вывод о значении воды для Милета — порта, благосостояние которого определялось морской торговлей. Я разделяю первую точку зрения. Более того, я считаю (вслед за П. Флоренским и А. Лосевым), что греческая философия может быть понята только как обобщение и логическое преодоление мифических мотивов.

Но хочется обратить внимание на другое: говорить, что начало всего — вода, — значит сделать предметом рассуждения то, что чувствам не дано, а дано лишь разуму. И отдать разуму предпочтение. Не случайно довольно скоро возникает совсем уже дикое с точки зрения здравого смысла учение Парменида о едином, неподвижном и шарообразном бытии, а ученик Парменида Зенон выдвигает изумительные доказательства того, что движения не существует («Ахиллес и Черепаха», «Стрела» и пр.). Меня всегда поражала свобода суждений, присущая древнегреческим философам. Да и сами греки оценивали их учения как потрясение основ. Так, Тимон говорит о Пармениде: «И не следующий мнению толпы, могучий, надменный Парменид... поистине освободил мышление от обмана воображения»¹⁷.

Я не случайно заговорил о Пармениде. Сказав, что «слово и мысль бытием должны быть», он сделал явной ту связь имен с их носителями, которая казалась реальной мифологическому сознанию. Осмысливая старые и творя новые мифы, греческие философы приходят к мнению, что слова связаны с вещами — изначально, *по природе*.

— Но это понимали и раньше. Что же здесь нового?

— Почти ничего. За исключением одной важной детали: для тех, кто мыслил мифологически, связь имен и вещей, в сущности, была определяющей их жизнь. Но они не знали, что знают это. Сказать: «Я верю, что имена физически причастны вещам», они

не могли. Нужно было посмотреть на себя со стороны. И первыми смогли это сделать, по-видимому, Пифагор, Гераклит и, конечно, Парменид.

Но как только этот тезис прозвучал во всеулышание, стало возможным на него возразить. Провозгласив эту связь как данность, Пифагор, Гераклит и Парменид утверждают ее как должную и необходимую. Возражал же им Демокрит, утверждая, что имена, слова ничего общего не имеют с сущностью вещей. Так слова «сошли в мир» и оказались во власти человека.

Раньше все было ясно: язык как способность говорить имел создателя. Вот и пригодилось заимствованное пифагорейцами у мудрецов Востока представление об ономотетете, имядатеде, — божество или герое, который даровал людям слова. У греков эту роль выполнил Гермес — вестник богов (возможно, в облике Гермеса отсвечивает фигура египетского Тота — «владыки словес бога»).

Однако, раздумывая об ономотететах, я все больше убеждаюсь в том, что представление о них не могло быть первичным. Оно могло возникнуть только после того, как появилось представление о словах, существующих отдельно от физического мира. Ведь в мифах — и я об этом уже говорил — слов, оторванных от обозначаемых ими предметов, нет. Следовательно, у них не могло быть и творца. Бог творил словами, а сами имена принимались как данность. И только унизив речь, лишив ее божественного ореола, можно было искать ее создателя. Такое понимание последовательности духовного поиска кажется мне более приемлемым, чем обычное, когда утверждается, что первые теории происхождения языка — это теории «божественного» происхождения его. Если уж считать утверждения типа «язык создан богом» теориями, то не следует забывать, что им предшествуют другие, основанные на идее физического тождества вещей и имен.

Представление о языке как о чем-то отделенном от физиологии и внешнего мира постепенно утверждается в духовной культуре. Царство слов и интонаций становится объектом пристального внимания софистов — учителей, за плату обучавших риторике и искусству спора. Протагор (прославившийся своим тезисом «Человек есть мера всех вещей») много говорил о правдивости слов, обсуждал грамматические ошибки, до-

пущенные, по его мнению, Гомером. Протагор был уверен, что язык должен быть разумным, логичным, иначе его можно и нужно менять. Поэтому, видимо, именно он открыл в греческом языке три рода — мужской, женский и вещный, классифицировал типы предложений.

Софист Продик, о котором мы не знаем почти ничего достоверного, вошел в историю философии как знаток языка. Он находил тонкие различия в значениях слов, считавшихся синонимами. В диалоге Платона «Протагор» Продик, обращаясь к Протагору и Сократу, как раз и демонстрирует свое искусство толкования слов: «...и вышла бы у нас великолепная беседа, и вы, собеседники, заслужили бы от нас, слушателей, величайшее одобрение, но не восхваление: одобрение возникает в душах слушателей искренне, без лицемерия, словесное же восхваление часто бывает лживым и противоречит подлинному мнению людей; с другой стороны, и мы, слушатели, получили бы, таким образом, величайшую радость, но не наслаждение; радоваться ведь свойственно познающему что-нибудь и приобщающемуся к радости с помощью мысли, наслаждаться же тому, кто что-нибудь ест или испытывает другое телесное удовольствие»¹⁸. Таким образом, Продик показывает, что слова, имеющие на первый взгляд одинаковые значения, при тщательном рассмотрении оказываются различными.

Доказательство того, что синонимов не существует, было принципиально важным, так как снимало один из серьезнейших аргументов против идеи природной связи слов и вещей. Ведь если синонимы есть, то у предмета *от природы* оказывается несколько имен. Но это невозможно потому, что существует лишь одно «настоящее» имя. Тогда остальные имена придуманы, *установлены* людьми. Значит, установление, как минимум, такой же равноправный источник появления слов, как и природа. Если же синонимов нет, идея природной связи сохраняется. Более того, пристальный анализ похожих по значению слов позволяет нам лучше понять сущность того, что они обозначают.

Но спор на этом не закончился. Демокрит выдвинул целую систему аргументов против «природной» теории. В доказательство того, что слова *установлены* людьми, он ссылаясь на четыре особенности языка.

Одноименность: есть слова, обозначающие несколько разных вещей, к каким же из этих вещей они применяются правильно? *Многоименность*: один предмет имеет разные названия, а это было бы невозможно, если бы названия существовали *по природе*. *Переименование*: Аристокла переименовали в Платона, а Тиртама — в Феофраста... Но можно ли было бы менять настоящие *отприродные* имена? *Несоответствия в словообразовании*: от слова «мысль», например, можно образовать глагол «мыслить», но от слова «справедливость» не образуешь глагол «справедливить». «Значит, имена действительно возникли случайно, а не присущи вещам по природе»¹⁹.

Но идея природного соответствия слов вещам продолжает жить (хотя и в более тонком варианте: имена связываются с *сущностью* обозначаемого). Ее можно обнаружить даже у Демокрита, в его работах о языке. Когда Демокрит вводит ряд терминов для обозначения единиц языка — буквы, слога, слова и предложения, он рассуждает по аналогии со своей теорией атомов: язык сложен из букв, как природа — из атомов. Но, согласно его учению, атомы — это скрытая от нас сущность вещей. Ощущать их мы не можем — ощущаем мы только сладкое, горькое, красное, шершавое и пр. А атомы и пустота — сущность, основа. Таким образом, язык уподобляется сокровенной природе мира. Не случайно поэтому Демокрит занимается этимологизированием, как и приверженцы *природной* теории. Но, разумеется, после Протагора и Демокрита отстаивать эту теорию стало гораздо труднее.

— А зачем вообще ее нужно было отстаивать? Ведь очевидно, что слова физически с вещами не связаны?

— На это легко ответить. Греки не признавали половинчатых решений. Если слова не от природы, значит установление их — человеческий произвол. Значит, любой человек может любым словом в любое время назвать любую вещь. Но тогда возникнет страшная путаница. Сократ резонно задает вопрос: «...если то, что мы теперь называем человеком, я стану именовать лошадью, а то, что теперь лошадью, — человеком, значит, для всех человеку будет имя „человек“ и только для меня — „лошадь“, и, наоборот, для меня „лошадь“ будет „человек“, а для всех — „лошадь“»?²⁰ Можно представить, насколько живее стало бы наше общение,

если бы мы должны были непрерывно выяснять (причем непонятно как), что имеет в виду наш собеседник. Общение стало бы таким интересным, что напоминало бы беспрерывное отгадывание кроссворда, с той только разницей, что разгадать — значило бы составить его заново. Можно, конечно, продолжить обсуждение такой идеи, но согласимся на том, что и в идее природной связи слов смысла не меньше. Вот этот смысл и хотелось сохранить. Что и сделал Платон.

Вслед за клубочком этимологий

*Не называй вещи своими именами,
если не знаешь их фамилий.*

С. Е. Лец

— Концепция Платона вроде бы достаточно проста, хотя и не могу утверждать, что мое понимание ее — единственно верное. Итак: язык создан ономотететами — богами или мудрейшими из людей. Ономотететы проникали в сущность вещей и давали им имена в соответствии с их природой. Язык, конечно, меняется; он сильно изменился уже со времен Гомера. Меняется он потому, что им пользуются люди не столь мудрые, как создатели слов. Значит, анализируя слова, мы должны постигнуть в них замысел творцов, и это даст нам познание истинной природы того, что словом обозначено. Для этого нужно найти по нынешним, производным словам те, первые. Таким образом, Платон теоретически обосновал процедуру поиска этимологий — «истинных слов», а обоснованная процедура исследования — это уже начало науки.

То, что называется «этимологизированием», возникло гораздо раньше появления термина «этимология» (его придумали стоики). Вообще говоря, этимологизирование — это движение от слов к обозначаемым ими вещам: когда, например, услышав название гриба — «сыроежка», я решаю, что гриб назвали так потому, что его можно есть сырым.

Этимологизирование, основанное на мифологических представлениях, в древнем мире было распространено очень широко. Им занимались шумерийцы, древние евреи (подтверждение чему — Библия), древние греки...

К этимологиям прибегали и древнегреческие философы. Но до Платона, который в диалоге «Кратил» пред- ставил этимологизирование уже как научное занятие, все это происходило стихийно.

— Допустим. Но какое отношение имеют этимоло- гии к происхождению языка?

— Самое прямое. Поскольку они основываются на убеждении, что слова возникли не случайно, то, вскрыв- ая способ образования слов, можно прийти к его на- чалу. Этимологизирование указало, таким образом, путь к истокам речи: нужно от *производных*, «испор- ченных» слов, двигаться к *первым*, составлявшим но- венький, только что созданный язык, подаренный лю- дям ономатотетам. Правда, этот язык предстанет как набор слов. Именно случайный набор, а не система. Осознание важности организации слов, грамматики, произойдет позже.

— Раз этимологизирование — это первая научно выбранная тропинка к роднику человеческой речи, рас- скажи о ней подробнее.

— Хорошо, это действительно интересно. Но чтобы не ходить по этой тропинке дважды, давайте пробежим по ней сразу до Нового времени.

Посмотрим на этимологии, обсуждаемые Сократом в диалоге Платона «Кратил». «Мне представляется, — говорит он, — что первые из людей, населявших Элладу, почитали только тех богов, каких и теперь еще почитают многие варвары: Солнце, Луну, Землю, Звез- ды, Небо. А поскольку они видели, что все это всегда бежит, совершая круговорот, то от этой-то природы бега (thein) им и дали имя богов (theoi)»²¹. Или еще: «Имя „человек“ означает, что, тогда как остальные животные не наблюдают того, что видят, не произво- дят сравнений, ничего не сопоставляют (anathrein), человек, как только увидит что-то, — а можно также сказать: „уловит очами“, — тотчас начинает пригляды- ваться и размышлять над тем, что уловил. Поэтому-то он один из всех зверей правильно называется „челове- ком“ (anthrōpos), ведь он как бы „очеловец“ того, что видит»²².

Как видим, Сократ здесь занят поиском признака, который позволяет через слово проникнуть в сущность того, что им обозначено. В других случаях Сократ ис- ходит из того, что установитель слов так подбирал

звучание, чтобы оно внешне соответствовало предмету: «А звуком *i* он воспользовался для всего тонкого, что могло бы проходить через вещи. Поэтому „идти“ (ienai) и „ринуться“ (iesthai) он изобразил с помощью йоты. Так же с помощью звуков *ph*, *ps*, *s* и *dz* (это как бы „дышащие“ звуки) он, давая вещам названия, подра- жал сходным их свойствам. Например, так он обозна- чил „студеное“ (psychron), „шипучее“ (dseon), „тряс- ку“ (seisthai) и вообще всякое сотрясение. И когда, давая имена, он подражал чему-либо вспенившемуся, то всюду, как правило, вносил эти звуки»²³.

Иногда Сократ обнаруживает, что слова — это свер- нутые словосочетания: «„Невежество“ (amathia) это как бы шествие рядом с божеством (hama theōi ienai)...»²⁴ Этим Платон доказывает, что пользуясь такими и некоторыми другими приемами, можно до- искается до истинных, первотворных слов.

Поиском этимологии в древнем мире особенно увле- кались стоики. Стоики разработали подробную класси- фикацию разных методов перехода от производных слов к первоначальным. Как писал Августин, «стоики считают, что нет такого слова, для которого нельзя бы- ло бы указать определенное происхождение»²⁵. Колы- белью слов называли стоики «согласие ощущения вещи с ощущением звука» — критерий новый, но также не самый объективный. Августин приводит такой пример: «mel (мед) — как сладостно воздействует на вкус сама вещь, так и именем она мягко действует на слух...»²⁶

Этимологизирование увлекало не только Августина, но и других отцов церкви. Забавно, что епископ Ни- сы Григорий ругает еретиков за то, что те одобритель- но относятся к этимологическим изысканиям в «Кра- тиле», а потом и сам предпринимает этимологические экскурсы²⁷.

— Скажи, а этимологизирование характерно только для европейских ученых или это общечеловеческий путь к началам языка?

— Не знаю, как насчет всего человечества, но этим увлекались не только европейцы. Будда, например, говорит брахману Васеттхе: «...люди пошли к человеку, который был самым красивым, наиболее почитаемым, привлекательным и способным среди них, и сказали ему: „Добрый человек, возмущайся, порицай то, что достойно осуждения, изгони того, кто достоин быть

изгнанным. А мы отдадим тебе часть нашего риса". И он согласился и сделал так, и они отдали ему часть своего риса. *Маха саммата*, Васеттха, означают „выбравший всем народом“. Так, *маха саммата* (великий избранник) стало первым постоянным выражением для обозначения такого человека. *Кшатрий* означает царь полей (от *кшетра* — поле); *кшатрий* — второе появившееся название. *Раджа* (от *рандж* — очаровывать) означает то, что он пленил всех порядком — тем, что должно пленять. Это было его третьим названием»²⁸.

Перечисление этимологий можно продолжать до бесконечности. Хотя понимание этимологизирования менялось, само занятие было настолько захватывающим, что увлекало на протяжении тысячелетий многих выдающихся и не очень выдающихся людей. Были созданы миллионы этимологий. В Новое время путем этимологий доказывалась близость различных европейских языков к древнееврейскому, так как он безоговорочно признавался первым языком человечества. И это доказывалось с легкостью. Брали, к примеру, древнееврейские слова *āgār* (крыло) и *dābar* (говорить) и начинали манипулировать ими, чтобы получить соответствующие слова национальных языков: «...из сего слова *āgār* путем обратного чтения — *faga* и *facken* — было образовано в немецком языке слово с тем же значением «крыло», что англичане исказили в своем произношении этого перевернутого слова *faga* в *wign* — *wieske* у фламандцев. Немецкое же *Flügel* получается благодаря вставке *l*... Отбрасывая первый согласный корня *d* или же путем перестановки *va* и *ad* было образовано *worde* по-английски, *wort* по-немецки, может быть, также латинское *fāri* и *verbum*»²⁹. Этимологизирование превратилось в игру, по правилам которой обосновывалось все что угодно, например то, что сам древнееврейский произошел от того или иного живого языка. Так, в период торжества Реформации патриоты легко доказывали, что в раю говорили на их родных языках.

Некоторые сомнения, правда, закрадывались, и более осторожные доказывали, что их родной язык если и не первый, то наидревнейший из всех известных. Такого мнения был, в частности, наш поэт и ученый В. К. Тредиаковский. Я хочу привести несколько примеров из его книги «Три рассуждения о трех главней-

ших древностях российских» и тем самым продемонстрировать живучесть этимологизирования еще и в XVIII веке. Тредиаковский доказывает, что многие названия европейских стран имеют славянскую (словенскую) основу: Целт (кельт) «есть по словенски *Желт*, а целты, следовательно, желты, т. е. народ светлорусый». Лузитания — это «Лишедания (по лишению дня, как страна самая последняя в западе)». Британия — «*бродания* (от больших бород) или от *братания* (так как британские кельты суть одного народа с галлическими)» или от «*пристаня* — от тех, кто первый к ней пристал». Древнейший язык и на Британских островах «был Словенский: свидетельствует Хладония, то есть страна холодная, нынешняя Шкотландия, кою римляне прозвали Каледониею от незнания языка: тож доказывает и море там Каледонское, вместо Хладонское, как простирающееся к северу...» Сама же «Шкотландия» — «от Шкоды или невыгоды с севера». Скифы — от «ски-ты» (от *скитания* их по степям; Италия — от Удалия (удаленная от севера), Норвегия — от Наверхия (лежит наверху карты, к северу); этруски — от «хитрушки» (ибо сии люди в науках по тогдашнему упражнялись)»³⁰. И тому подобное. Я уж не буду обсуждать, как можно было под знаменем славяноцентризма доказывать предкам португальцев, что у них день «лишается», или предкам норвежцев, что их земля лежит «наверху карты к северу», но не могу не заметить, что здравый смысл против всего этого не возражал.

— А стойки тоже сравнивали слова разных языков?

— Насколько я знаю, нет. Они не видели в этом смысла. А в Новое время это занятие стало очень популярным. Ученые пытались путем сравнения разноречных слов прийти к тому языку, который достался нам в наследство от Адама. Единственному достойному изучению. Считалось, что именно этот язык *смешался* во время Вавилонского столпотворения, а современные языки сохранили некоторые его черты. (Кстати, само выражение «смешать язык» ясно говорит о том, что имелись в виду отдельные слова. Бог *перемешал словарь*.)

Мистик Якоб Беме предложил замечательный критерий изначальности восстановленных слов: поскольку во время откровений он беседовал со Всевышним на языке Адама, для него не составляло труда определить правильность их восстановления,

Сравнение разных языков очень обогатило этимологию. Ведь стоики, как и Платон, изучали только родной язык.

— В это время языки перестали делить на истинные и варварские?

— Да, конечно. Я об этом сразу не подумал. Действительно, нелепые, с нашей точки зрения, манипуляции со словами практически реализовали идею равноправия языков и тем самым окончательно сломали мифологическую традицию.

— А разве никто не понимал всей произвольности получаемых этимологий?

— Понимали, критиковали и... сами начинали этимологизировать. (Все признавали, что предмет уж очень изыскан.) И только после работ Августа Потта в первой половине XIX века поиск этимологий был упорядочен и стал вестись научно. Но тут же оказалось, что к поискам первого языка он не имеет ни малейшего отношения: в лучшем случае можно кое-что сказать о словарном составе не слишком древних языков.

От слов к картинкам

— Я не могу этому поверить.

Что скажет история?

— История, сэр, налетит, как всегда.

Б. Шоу

— Платон высказал еще одну идею, которая для лингвистики имела неопределимые последствия. Он предложил делить слова на имена и глаголы, отождествив, правда, предложение с логическим суждением. Суждение, как известно, состоит из субъекта, т. е. того, о чем или о ком говорят, и предиката, т. е. того, что говорят. Соответственно у Платона те слова, которые обычно занимали место субъекта, стали «именами», а те, которые могли стоять на месте предиката, — «глаголами». Имеется в виду примерно следующее. Возьмем суждение «Человек бежит». О ком говорится? О человеке. «Человек» — субъект суждения, следовательно, по Платону, имя. Что о нем говорится?

Что он бежит. «Бежит» — предикат, следовательно, глагол. Теперь возьмем суждение, выраженное предложением «Он — курильщик». Здесь субъект представлен местоимением, а предикат — именем существительным. Поэтому Платон в разряд «имен» наряду с существительными и прилагательными помещал местоимения, а в разряд «глаголов» — местоимения, причастия и даже словосочетания³¹. По той же причине позже Аристотель, выделив в суждении связку (под которой в грамматике потом стали понимать союзы), включил сюда, кроме собственно союзов, предлоги, частицы, наречия и местоимения.

— То есть предложение изучалось как суждение?

— Именно (кстати говоря, школьным определением предложения как высказывания, выражающего законченную мысль, мы обязаны в конечном счете Платону). При таком подходе структура самих предложений оказалась случайным и малозначительным явлением. Важна была только структура суждения. Идя за Платоном, стоики изучали способы выражения субъекта и предиката и в результате создали морфологию — учение о формах слова. Они же придумали и большинство морфологических терминов, которыми мы сейчас пользуемся: «падеж», «залоги», «склонение», «вид» и др. Но синтаксиса — учения о предложении — у них не было. Поэтому язык для древнегреческих ученых остался набором слов и их форм. Следовательно, они в принципе не могли поставить вопрос о происхождении языка как грамматической системы, как системы знаков. Они могли поставить и поставили вопрос о происхождении слов, а это задача совсем другого рода. Во всяком случае, предложенное ими решение послужить для нас путеводной нитью не может. Но даже правильно судить о происхождении слов греки тоже не могли. Я покажу это на примере.

Предположим, анализируя слова «среда», «середиться», «середина» и «сердце», я прихожу к выводу, что «сердце» — изначальное слово, а остальные — производные от него. На месте Сократа я рассуждал бы примерно следующим образом. Замысел ономастотета был таков: сердце — орган, который (1) находится посередине грудной клетки и (2) являетсяместищем органов чувств. Поэтому слова «среда» (день недели) и «середина» восходят к первому значению:

среда как бы сердце недели, а середина — как бы сердце всего делимого. Слово же «сердиться» восходит ко второму значению — «держат сердце против кого-нибудь». Само же слово «сердце» очень точное и прекрасно передает замысел творца, который заключается, очевидно, в том, что, поместив звук «р» в центре, ономотет как бы передает им рокот, прибой чувств, подчеркивая, что оно никогда не остается в покое. И звук этот помещен между двумя свистящими «с» и «щ» — для указания на срединность его.

Сократ мог бы доказать и то, что все эти слова производны от «середины» или от «сердитости». Ведь для того, чтобы подтвердить изначальность определенного слова, нужно сравнить его с соответствующими словами родственных языков. И только если обнаруживается (возьмем условный пример), что слово «сердце» есть (в отмеченном или близком значении) в болгарском, чешском, верхнелужицком, старославянском и других славянских языках, а слов «середина», «среда» и «сердиться» в них нет, то правомерен будет вывод об исконности слова «сердце», т. е. о том, что оно было в праязыке, из которого позже образовались все славянские языки. А без такого межъязыкового сравнения тезис об изначальности некоторого слова — пустой звук.

И последний штрих: только исследователи XIX века выяснили, как важно выявлять, что слова разных языков связаны закономерными отношениями. Так, славянскому «с» в языках латинском и греческом соответствует «к». «Сердце» по-гречески — «кардиа», а по-латински — «кор» («кордис»). Славянское числительное «сто» сопоставляется с латинским «кентум». Лишь фиксируя закономерности, мы избежим произвола.

Следовательно, такие пути к истокам языка, как платоновский поиск первого языка или поиск языка Адама, вели мимо цели.

— Ты говорил, что произвольность этимологизирования вызывала нападки. Когда же именно? В Новое время или еще в античности?

— Конечно, уже в античности. Еще Платон относился к этимологизированию с большой долей скепсиса. Не случайно до сих пор идут дискуссии о подлинном отношении Платона к этимологии в «Крати-

ле». Но наиболее резкой критике подверглась идея ономотетета. Утверждение, что кто-то придумал язык и научил ему людей, вызывала у Эпикура и его учеников едкие усмешки.

— Но как стала возможна такая критика?

— В результате совершенно нового понимания природной связи имен и предметов. Эпикурейцы понимают ее как связь *по природе человека*. «...Названия, — писал Эпикур, — первоначально были даны вещам [возникли] не по соглашению [уговору], но так как каждый народ имел свои особые чувства и получал свои особые впечатления, то сами человеческие природы выпускали каждая своим особым образом воздух, образовавшийся под влиянием каждого чувства и впечатления, причем влияет также разница между народами в зависимости от места их жительства. Впоследствии у каждого народа, с общего их согласия, были даны вещам свои особые названия для того, чтобы сделать [друг другу] словесные обозначения менее двусмысленными и выражаемыми более коротко. Кроме того, вводя некоторые предметы, ранее не виданные, люди, знакомые с ними, вводили и некоторые звуки для них: в некоторых случаях они вынуждены были произнести их, а в некоторых выбрали их по рассудку согласно обычному способу образования слов и таким образом сделали их значение ясным»³².

Значит, природа человека такова, что он не может не выражать свои чувства и впечатления, и эти *озвученные чувства* (позднее сходные теории получили название «междометных») составили корпус первых слов языка.

Таким образом, эпикурейцы заложили основы принципиально нового подхода к решению вопроса о возникновении языка. Ведь их предшественники считали, что если язык — это набор слов, а слова (имена) связаны с сущностью вещей, то, следовательно, они возникли вместе с вещами или же ономотететы придумали имена, которые выражают их сущность. Эпикурейцы же идут по другому пути: они представляют себе некое событие, которое, по их мнению, предшествовало появлению языка, и на этом представлении разворачивают картину его возникновения. Такую, которую услужливо подсказывает здравый смысл. А он подсказывает, что для этого люди долж-

ны были собраться в одном месте, но если уж они собрались, то, конечно, попытаются как-нибудь договориться между собой. Что же заставило их собраться? Скажем, пожар. Заметив, что тепло от огня очень приятно, люди «стали подбрасывать в огонь дрова и, таким образом поддерживая его, привлекать других и показывать им знаками, какую можно извлечь из этого пользу. В этом сходбище людей, когда каждый по-разному выпускал дыханием голоса, они, благодаря ежедневному навыку, установили, как случилось, слова, а затем, обозначая ими наиболее употребительные вещи, ненароком стали наконец говорить и таким образом положили начало взаимной речи»³³.

Здесь язык как таковой отходит на второй план. И не случайно именно сторонники такого подхода отстаивали мнение, что язык человека ничем не отличается от языков животных. Напротив, их оппоненты твердо верили в неповторимость человеческого языка.

— Что, если я попробую коротко пересказать, о чем ты говорил, а ты скажешь, верно ли я все понял.

— Попробуй.

— Итак, античные теории происхождения языка складывались в рамках двух традиций. Первая опиралась на представления о сущности языка, вторая — на воображаемые ситуации появления речи. Если, согласно Платону, первые слова точнее производных выражали суть вещей, то, по Эпикуру, наоборот, они были двусмысленными и их нужно было усовершенствовать, что и делал каждый народ по-своему. Если Платон много размышлял о природе слов, но не задумывался о том, как в действительности ономотет мог, придумав слова, передать их не имеющим языка людям, то Эпикур больше думал о ситуации, в которой возникли слова, а сам язык (понимаемый как совокупность слов) считал чем-то совершенно очевидным. Отсюда и святая простота высказывания: «...ненароком стали наконец говорить».

— Верно! Противоположность этих позиций редко принимается во внимание, и это приводит к тому, что пишущие о возникновении языка либо игнорируют одну из них, либо — чаще всего — механически их смешивают.

— Например?

— Я думаю, что примеры смешения не очень наглядны, а вот примеры игнорирования довольно показательны. Так, А. Глаголев в статье «О постепенном развитии первообразных языков» как бы разворачивает в прошлое учебник грамматики: последовательное описание частей речи в учебнике становится моделью истории языка³⁴. По его мнению, первыми словами были имена вещей. Потом люди начали замечать признаки предметов и обозначать их — возникли прилагательные. Прилагательные превосходной степени первоначально обозначались повторением слов, например «святая святых». К первообразным (первым) словам относились и глаголы, причем самым употребительным был глагол «быть». Сперва говорили «лицо красно есть», а после сокращенно «лицо краснет». В состав «первообразного» языка входили также личные местоимения и предлоги. Сперва говорили «плод от дерева» вместо «плод дерева», «сын от человека» вместо «сын человека», «подай ко мне» вместо «подай мне». Наречия и союзы появились позже. Предложение «Молния пролетает быстро» означает: (1) молния пролетает, (2) полет ее быстр. Поскольку придаточное появляется после главного, то и наречия в предложении должны были следовать после других частей речи. Еще позже возникают и числительные.

Создателю подобной картины нельзя задать вопрос, как на самом деле появляются части речи, какое время, например, прошло между возникновением глаголов и наречий. Можно, конечно, возразить, что эта картина слишком умозрительна, чтобы ее стоило серьезно обсуждать на предмет исторической достоверности. Но мне-то важно вскрыть основания такой логики, и как раз простые примеры позволяют сделать это лучше всего. В данном случае ясно, что для А. Глаголева сами реальные ситуации, в которых эволюция речи могла происходить, совершенно безразличны.

Пример противоположного подхода — концепция антрополога В. А. Головина³⁵. Он исходит из того, что первобытный труд сводился ко всевозможным ударам, причем «звук удара ассоциировался в сознании наших предков не только с орудиями и предметами труда, но и с разными последствиями удара»³⁶. И этих посылок автору достаточно, чтобы объяснить



происхождение языка: нужно только извлечь из существующих языков то, что напоминает удары. Это, понятно, сделать не очень сложно: «Если из звукового состава древнегреческого и латинского, английского и русского языков извлечь шесть нечленораздельных комплексов наиболее распространенных согласных звуков: В — П, М — Н, Д — Т, Р — Л, К — Г — Х, З — С — Ц — Ч, то окажется, что всякое парное сочетание каждого такого комплекса с другими постоянно образует различные глаголы ударов»³⁷. (Кстати, о «нечленораздельности»: согласные только потому и согласные, что они членораздельны.) Особенности «глаголов удара», по Головину, в том, что гласные звуки для них часто несущественны (зато существенны «нечленораздельные» согласные!): бах — бух, тук — так, тук, тюк. Звуки легко заменяют друг друга по созвучию: ТРахать — ДРобить — ТоРить — ТоЛочь... (В этот же ряд попадает и — ДоЛонь — ЛаДонь... Так что «несущественной» оказывается и принадлежность слов к глаголам удара!)

В такой концепции структура языка, его морфологический состав, разумеется, абсолютно неважны. Важна только некоторая начальная ситуация, в которой автор находит зерно, вырастающее в развитый язык, т. е. берется реальная, по мнению автора, картина, а действительный, живой язык, по сути, игнорируется.

Итак, оба подхода оказались первыми указателями на пути к истокам человеческой речи, и из уважения к первопроходцам я назову их «направление Платона» и «направление Эпикура». Платон указывал путь к истокам от современного ему языка, Эпикур же — от гипотетической картины доречевого состояния человечества. И на каждом пути нас подстерегают неожиданные. На Платоновом маршруте есть одна боковая тропинка, которая часто уведила путешественников от истоков языка, и они начинали то заниматься изучением слов самих по себе, то форм самих по себе. Эпикур же как будто верно указывал направление, но не давал волшебного клубочка, путешественники чаще всего видели миражи, принимая их за реальность.

Поняв это, здравомыслящие путешественники начали изобретать верные средства не сбиться с пути.

Об одном из них стоит сказать подробнее. Это *теория звукоподражания*, которая гласит: первые слова появились в результате подражания звукам природы — крикам животных и естественным шумам. Словом, язык здесь — «отраженный глас природы».

— Говорил «направления», а теперь как-то сразу — «теории».

— Нет, я не оговорился. Если, рассуждая о происхождении языка, кто-то произнесет «теория», то в этом слове не нужно видеть аналогии, например, с теориями физическими. Разница между теорией звукоподражания и теорией относительности примерно та же, что между поездкой на быках и полетом на сверхзвуковом лайнере. То же самое можно сказать и о таких продуктах человеческой фантазии, как «теория общественного договора», «теория божественного происхождения», «междометная теория» и некоторые другие. Фактически словом «теория» освящается какое-нибудь элементарное соображение, которое затем у разных авторов разрастается в картины происхождения речи.

Но возвращусь к теории звукоподражания. Логика ее изобретения, по всей вероятности, такова. Сначала идем по пути, указанному Эпикуром. Замечаем: люди вздыхают, кричат, по-разному реагируют на разные предметы. Теперь задаем себе вопрос: почему эти реакции всем понятны? И убеждаемся: потому что одинаковые звуки относятся к одинаковым вещам. Но как этого удалось достичь, если договориться люди еще не могут: язык-то еще не появился. Да очень, оказывается, просто: нужно голосом изображать звучащие предметы или животных, подражая им. Если скажу «гав-гав!» — все поймут, что я имею в виду собаку, а если скажу «ку-ку!», никто не подумает — что тигра. Вот откуда первые слова! Сначала люди куковали, тьякали, кукарекали, рычали. А когда накопили слов, дальше все стало просто: знай пополняй словарь! Придирчивому взгляду, правда, открывались некоторые изъяны этой теории. И как тут исхитрились найти выход из положения, я скажу позже, когда перейду к Аделунгу.

— А где же в сей теории грамматика, правила сочетания слов?

— Верно замечено! На вопрос, как возникает грамматика, в частности типы словоизменения, теория звукоподражания ответить не способна. Больше того, даже ставить этот вопрос, не расширяя ее рамок, нельзя. Правда, есть еще один довод в пользу теории звукоподражания: если люди обучаются языку, подражая звукам других людей, то кому могли подражать первые люди? — Только звукам природы. Однако при этом упускается из виду крохотная деталь: неясно, что значит «первые люди». Это, видимо, какие-то только-только появившиеся люди, выпрыгнувшие, например, из акулы (как считал Анаксимандр). Но с таким вопросом нам лучше обратиться к нашему антропологу.

Кстати, подобные же изъяны можно обнаружить и в *междометной теории*, которая утверждает, что первые слова — это вырвавшиеся из груди первого человека восклицания. Поскольку природа людей одинакова, люди понимали восклицания других. Человек охал, ахал, стонал, взвизгивал, урчал от удовольствия и побуждал к этому же своих соплеменников. Картина, безусловно, яркая, но малонаучная. Однако я отвлекся. Итак, греки обнаружили два пути к истокам человеческой речи. Но они видели в языке лишь отдельные слова и их формы, и это тормозило их продвижение вперед.

За языком Адама

*И будет первый из людей
В ожившей глине создан снова,
И задрожит в руке твоей
Первоначальной жизни слово.*

Е. Полонская

— С античности и практически до середины XVIII века господствует *теория божественного происхождения языка*. Она представляет собой возврат к мифологической версии возникновения речи, данной в Ветхом Завете. (Разные авторы излагают ее с поправками на тогдашний здравый смысл.) Обсуждаются два библейских предания.

1. «19. Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел [их] к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей. 20. И нарек человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым...»³⁸

2. «На всей земле был один язык и одно наречие... 4. И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде нежели расеемся по лицу всей земли. 5. И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. 6. И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. 7. Сойдем же и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого. 8. И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город [и башню]. 9. Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и оттуда рассеял их Господь по всей земле»³⁹.

Эти тексты, особенно первый, понимались очень широко. Уже Эфрем Сирий в III веке писал, что Адам за один час придумал тысячу имен, которые и составили первоначальный словарь древнееврейского языка. В том, что первым языком человечества был древнееврейский, никто не сомневался на протяжении более чем тысячи лет. Великий Данте говорил, что первым словом, которое произнес Адам, было древнееврейское слово EL — «Бог».

— Но ведь «Бог» — это не название животного.

— Конечно, я же и сказал, что текст трактовался широко. Считалось, что Адам придумал все слова, а коль язык отождествлялся со словами, то и язык вообще.

Данте и не сомневается, что Адам был сотворен говорящим. Это самый простой вариант теории божественного происхождения языка. Назовем его «ветхозаветной версией»: Адам создан говорящим на древнееврейском языке, а от него этому языку научились Ева и их дети, потом дети их детей и т. д. Во время строительства вавилонской башни бог «смешал» именно этот язык.

Критическая мысль постепенно подтачивала эту версию, и прошло немногим более тысячи лет со вре-

мен Эфрема Сирина, как получила признание и начала торжествовать победу «богословская версия»: бог вдохнул в человека способность к созданию языка, а уж изобретение языка — его собственное несовершенное творение. Поэтому и язык несовершенен. Возможно, эту идею впервые высказал уже упомянутый Григорий Нисский, но только через тысячу лет она стала предметом внимания ученых и Николай Кузанский, кардинал и знаменитый философ, мог написать: «Первый человек налагал имена вещам на основании человеческих представлений, и в названиях нет поэтому такой точности, чтобы уже нельзя было назвать вещь каким-то другим, более точным словом»⁴⁰.

— Так ведь и до этого знали о несовершенстве языка. Ты же сам сказал, что о неточности слов говорил уже Платон, который искал *первые* слова, выражающие сущность вещей (в отличие от *производных* слов, которые неправильно обозначают эти вещи). А до Платона это знал фараон Псамметих, организовавший первый лингвистический эксперимент...

— Конечно, но в средние века эту мысль пришлось переоткрывать и приспособлять к новым условиям. Ведь если язык дан богом, он не может не быть совершенным, не быть абсолютным выражением сущности вещей! И нужно было найти формы, чтобы сочетать веру в божественность языка с его очевидной неполнотой и неточностью. Идея о несовершенстве человеческого языка приобрела отчетливые контуры у каппадокийских отцов церкви в их спорах с представителями арианской ереси.

Сомнения в безусловных достоинствах нашей речи зародились и в рамках апофатического (отрицательного) богословия. Эти богословы утверждали, что дать богу имя, которое выражало бы его сущность в принципе невозможно. В «Ареопагитиках» о сверхъестественном начале бытия — боге — сказано: «...оно превосходит всякое слово и всякое познание и пребывает превыше всякого ума и естества, все же существующее обнимает и схватывает, соединяет и предвосхищает, само же ничем не объемлется, не поддается ни чувственному восприятию, ни воображению, ни наименованию, ни слову, ни осязанию, ни познанию...»⁴¹

Позже известный богослов Алкуин выдвинул еще один аргумент, который обнажил разрыв между сло-

вами и сущностями. Этот аргумент — слово «ничто»: слово есть, а того, что оно обозначает, нет.

Семена сомнений в совершенстве божьего дара сеял и знаменитый схоластический спор реалистов и номиналистов. Последние утверждали, что слова обозначают единичные вещи и не имеют ни малейшего отношения к сущности мира. Какое уж тут совершенство! Учение номиналистов было раскритиковано, но аргументы остались. И разрушали соблазнительно простую ветхозаветную версию (Фома Аквинский, например, пишет что имена вещей *должны* соответствовать их природе, следовательно, считает, что этого соответствия нет). А когда появились сомнения в правоте первой версии, ее пришлось обосновывать. И особенно активно это начали делать в XVI—XVII вв.

Не случайно именно в это время Джеймс IV провел самый «удачный» царский эксперимент, когда дети «заговорили» на древнееврейском. Но даже такое «доказательство» не помогло. А богословская версия позволяла выдвинуть на роль первого языка любой другой язык, если уж человек создавал его по своему произволу. И, понятно, национальный патриотизм не мог тут не сказаться. Доказывали, что первым языком был готский, немецкий, баскский, арабский, голландский, китайский и др. Венцом таких изысканий стало открытие одного шведского писателя, заявившего, что в Эдеме первая семья говорила на датском языке, Змей — на французском, а Саваоф — на шведском. Причем автора не смущали всякие несуразицы, вроде того, как же Адам и Ева понимали Саваофа и Змея (понятно, что для Саваофа языкового барьера не существовало).

Обе версии разрабатываются вплоть до конца XVIII века. К примеру, английский философ Т. Гоббс представлял дело так: бог придумал несколько слов и научил им Адама. Однако «этого было достаточно, чтобы научить его прибавить еще имена... а также постепенно соединять эти имена таким образом, чтобы быть понятным. Таким образом, с течением времени могло накопиться столько слов, сколько Адаму необходимо было, хотя не в такой мере, как это необходимо оратору или философу»⁴².

Здесь кстати говоря, Гоббс полемизирует с Лютером, правда без ссылок на него, или с его английскими последователями. Лютер утверждал, что Адам был величайшим из философов и остался им даже после изгнания из рая.

Потом язык Адама был фактически утрачен людьми во время вавилонского столпотворения. И так как «люди были при этом вынуждены рассеяться по разным частям света, то необходимым следствием этого было, что существующее ныне разнообразие языков было постепенно создано ими, по мере того, как их научила этому нужда (мать всех изобретений)»⁴³.

Очень миленькую картинку рисует неизвестный немецкий автор, книжка которого появилась в русском переводе в 1778 г. «Бог приказал точно человеку дать имена зверям. Как он их назвал, так они и назывались». Адам же, дав имена животным, говорил сам с собой, а «его добрая супруга, коя, по натуральной привязанности к мужу, не имела охоты представлять непрерывно пантомину, примечала тотчас сии знаки. И так произошел между двумя первыми человеками первой язык»⁴⁴. Этот же аноним далее утверждает: «Из смешения двух языков надлежало третьему, а из нового смешения с четвертым или пятым еще другому языку возрасти, который иногда от первых много и заимствует»⁴⁵. Ему так нравилась мысль о скрещивании языков, что он даже позволил себе предположить, что многие языки существовали еще до потопа.

Английский врач и философ-материалист Д. Гартли тоже представлял свою картину. До потопа-де человечество обходилось тем языком, который был внушен Адаму богом, и только после грехопадения добавилось некоторое количество слов. А после вавилонского столпотворения, «во-первых, первоначальные односложные слова языка, существовавшего до потопа, были включены в состав каждого нового языка. Во-вторых, так как эти слова включали только немногие из членораздельных звуков, на которые способен человеческий голос, нескольким семьям было внутренне создано новых артикуляций: некоторым — один комплекс, некоторым — другой, сообщенный им. В-третьих, каждая семья получила новый запас слов, состоящий частично из старых, частично из новых

артикуляций; и этот новый запас слов значительно превосходил старый по количеству и разнообразию слов. В-четвертых, новая, отличная [от старой] этимология и синтаксис были также сообщены каждой семье. В-пятых, было дано столько языков, сколько было глав семейств, упомянутых в книге Бытия»⁴⁶.

Иногда такие картины украшались идеей, что бог сразу дал Адаму и письмо.

— Скажи, а до XVIII века, или даже до XIX, говорили о естественном, без вмешательства высших сил, происхождении языка?

— Насколько я знаю, только в античности. Но для науки это, в общем, несущественно.

— Как же так, ведь божественная теория ненаучна в принципе?

— Граница между «научным» и «ненаучным» не такая уж четкая, как кажется. Заметьте, что если переписать картину Гартли, убрав из нее бога, она превратится в картину естественного происхождения языка. Примерно такую: у людей были простые односложные слова; рассеиваясь по свету, они эти слова сохранили; потом понемногу добавили к ним сначала новые членораздельные звуки (каждая группа людей, понятно, свои), затем новые слова и постепенно развивали более подходящие способы сочетания слов в предложения. Но вот небесные силы убраны, а все проблемы остались: зачем люди добавляли звуки? какие? на основе каких способностей? что их толкало? когда появляются предложения? какого типа? и т. д. и т. п.

— Ну и что?

— А то, что даже такие «безбожные» картины в научном плане не всегда более содержательны.

— Однако они дают новый подход.

— Правильно, но его еще нужно обосновать. А без этого он ничуть не более научен. Словом, когда мы выбираем маршрут, нам нужно четко осознавать, почему мы это делаем.

— Ну, а решалась ли проблема возникновения языка в так называемые *средние века*?

— Нет, даже не ставилась. Потому что все казалось ясным. Достаточно было сослаться на древнееврейский и сказать: да вот же первый язык! А то, что потом возникли сомнения, дела не меняло. Начали

показывать на другие языки, сохраняя веру в ветхозаветную версию. Но вот со второй версией все оказалось сложнее. В соответствии с ней язык Адама считался единой основой всех языков. Но наряду с внушенной богом способностью к языку предполагалось существование так называемой «универсальной грамматики», не зависящей от конкретного языка. Поэтому поиски универсальной грамматики, а не описание реальных языков (хотя для современной лингвистики важнее именно оно) на протяжении сотен лет считались единственно достойным занятием. Идеалом служил не древнееврейский, а латинский язык с его чеканными грамматическими конструкциями. Однако все эти поиски мало способствовали разрешению загадки происхождения языка. Гораздо дальше ушел Лейбниц. Полиглот и философ, Лейбниц в итоге своих штудий пришел к выводу, что современные ему языки несовершенны, тогда как язык первого человека должен был божественно соответствовать своему назначению. «...Если бы мы имели первичный язык во всей его чистоте или достаточно сохранившимся, то в нем должно было обнаружиться его основание, будь то физические связи, будь то произвольное установление, но во всяком случае мудрое и достойное первого творца»⁴⁷. Признак совершенства языка для Лейбница — степень сохранности в нем корневых слов того языка, который был смешан во время вавилонского столпотворения. Как видим, сам поиск языка Адама Лейбниц оправдывает. Но с очень важным уточнением: ни один из реально существующих или исторически зафиксированных языков не может считаться Адамовым языком. Так, он думал, что немецкий и галльский языки восходят к кельтскому, а тот вместе с латинским и греческим — к какому-то более древнему языку. Словом, уверенное «Да вот же он!», сопровождаемое указанием на древнееврейский или какой-нибудь из новоевропейских языков, Лейбниц заменил неопределенным «Он где-то там...» (кстати, в это же время появляются интересные и, как выяснилось позже, часто верные догадки о родстве языков: например, был установлен факт родства финского и венгерского языков).

Сравнение слов с целью отыскания первообразных корней (не истинных, не древнееврейских и не ново-

европейских слов!) было необыкновенно популярно в XVIII веке. Эти исследования явились началом движения к истокам того, что сами ученые считали языком, а я считаю набором слов. Пиком деятельности представителей этого, как удачно его назвал историк русской лингвистики С. К. Булич, «всесравнительного», направления стал ряд грандиозных изданий, которые тут же стали вчерашним днем лингвистики. О них я и хочу сейчас рассказать.

Тупик всесравнительности

Может быть, между словами «мама» и «высокопревосходительство» прошло столько же времени, сколько между челноком и кораблем.

А. Шишков

— Погоди, если «всесравнители» создали труды, устаревшие до выхода в свет, зачем о них говорить?

— Я думаю, это имеет смысл по двум причинам: во-первых, чтобы не повторять ошибок (а повторяют их еще и в XX веке), а во-вторых, чтобы увидеть один из самых ярких итогов применения методики, основанной на представлении о языке как наборе слов. Поэтому назову самые известные труды.

1. *Сравнительный словарь всех языков и наречий*, по алфавитному порядку расположенный. Спб., 1790—1791 гг. (использовано 272 языка).

2. *Каталог языков известных народов*, их исчисление, разделение и классификация по различиям их наречий и диалектов. В 6-ти томах. Мадрид. 1800—1804 гг. (использовано 300 языков). Составитель — известный миссионер, испанский иезуит Л. Герваси-Пандуро.

3. *Митридат*, или Всеобщее языкознание, имеющее в качестве языкового примера «Отче наш» на почти 500 языках и диалектах. В 4-х томах. Берлин, 1806—1817 гг. Задумал и начал его известный лингвист И. Х. Аделунг, а продолжил и завершил издание И. С. Фатер. (Свое название словарь получил в честь

понтийского царя Митридата VI Евпатора, который был знаменит, в частности, тем, что говорил на 22 языках подвластных ему народов.)

Начну с Санкт-Петербургского словаря, тем более что потом многие опирались на него и вообще его можно считать крупнейшим достижением русского языкознания.

Императрица Екатерина II увлекалась сравнением слов разных языков. К этому занятию она вначале относилась вполне серьезно: каждое утро в течение часа переводила одно слово на определенное количество языков. Увлечение царицы послужило толчком к той кампании, в которую оказались вовлечены известный деятель немецкого Просвещения Ф. Николаи, первый русский библиограф (писавший, правда, на немецком) Л. И. Бакмейстер, естествоиспытатель академик П. С. Паллас и один из организаторов сербского, а затем русского школьного образования Ф. И. Янкович де Мириево. Николаи присылал Екатерине II книги по языкознанию, а в 1785 г. отправил ей составленное им общее обозрение всех языков мира. Паллас был первым редактором словаря, в основу которого легли материалы — списки переводов разных слов — Бакмейстера и Екатерины. Всем русским посланникам за границей было приказано высылать переводы определенных слов и отрывки текстов на экзотических языках. По мановению августейшей руки сотни курьеров помчались за словами в разные концы света. Стук подков их лошадей задавал ритм работы ученым-собираателям. Паллас, от которого требовали чрезвычайной поспешности, издал на русском и латинском языках первую часть словаря, в которую вошли собранные в гнезда слова из европейских и азиатских языков. Назвали словарь «Сравнительные словари всех языков и наречий, собранные десницею высочайшей особы» (1787 г.).

Однако императрица мало-помалу охладевала к этому своему детищу. Когда первую часть словаря издали (кстати, совсем ничтожным тиражом), выяснилось, что учтены далеко не все присланные материалы даже по европейским языкам, не говоря уже об азиатских и африканских.

Редактором словаря вскоре становится Ф. Янкович де Мириево. Четыре части нового словаря увидели

свет в 1790—1791 гг. Теперь слова уже были расположены по алфавиту. Удивительно, но именно этот словарь, в составлении которого не участвовал ни один профессиональный лингвист, стал первым вкладом русского языкознания в европейскую науку.

Во всех трех всесравнительных словарях родство языков выводится из сходства отдельных слов. Правда, большая роль отводится географическому соседству народов, а Гервас даже обращает внимание на близость грамматических структур. Тем не менее «Митридат» устарел еще до окончания публикации: последняя часть четвертого тома вышла в 1817 г., а в период с 1816 по 1819 г. увидели свет труды основоположников сравнительно-исторического метода — Ф. Боппа, Р. Раска и Я. Гримма. Факт родства стал определяться в первую очередь регулярным совпадением грамматических конструкций.

Еще один «всесравнитель», вице-адмирал А. С. Шишков, президент Академии Российской (впоследствии она вошла в состав императорской Академии наук как «Отделение русского языка и словесности»), известный борец за чистоту русского языка, — а им он считал церковно-славянский, — был весьма плодовитым ученым. Идея *всесравнения* захватила его, и он начинает издавать этюды на тему словаря Ф. Янковича де Мириево.

В одном из этюдов исследуется слово «отец». Выстроен следующий ряд слов: ата — ату — ате — ат, атац — атец — отец — атер — фатер — патер — патир — патре — падре — пере — пер. «Сравним теперь, — предлагает адмирал, — «пер» с «ата»: есть ли между ними какое сходство? Кто же без исследования вообразит себе, чтоб сии слова были не что иное, как изменение одно другого?»⁴⁸. Как видите, приводится сравнение звуковых, точнее, буквенных цепочек при полном пренебрежении к языкам. Если родственны слова, то значит родственны и языки, ведь они не более чем набор слов.

В трудах адмирала так много противоречий, что невозможно уловить суть его взглядов на происхождение языка. Не мудрено, что он путает названные версии. Вот он рассуждает о языке, на котором говорила первая семья — Адам и Ева. И тут же делает вывод, что первый народ говорил на одном языке.

Потом «...народ сей, умножась, стал разделяться и отходить в разные стороны, тогда каждое отделение из сих отшельцев понесло с собою язык отцев своих, и, следовательно, началом всех языков должен быть один первобытный...»⁴⁹. Но «Бог не имел надобности для населения земли... созидать в десяти или более странах десять или более мужей и жен»⁵⁰. Словом, это перепев Ветхого Завета: Бог дал язык, который позже распался на многие языки, а их остатки сохранились в новых языках как изменившиеся корни таких слов, как «мать», «отец», «рука» и т. п.

Но вот вам и перепев богословской версии. Бог дал способность к языку, а развивала его первая чета сама, ведь она «...должна была вместе с началом бытия своего почувствовать и способность свою и надобность объясняться друг с другом»⁵¹. Названы даже основные этапы создания языка: сначала были звуки *а, е, и, о, у*, затем *ба, ма, на, та*, потом *баба, мама, няня* и т. д. И вдруг зазвучала мелодия звукоподражания: «Первоначальному составлению языков учительницей была сама природа. Люди, слыша естественные звуки, соглашали голос свой с оными и давали им те самые имена, какими, казалось, они сами себя называют»⁵². И все казалось Шишкову естественным, не требующим никаких доказательств. В то же время сама всесравнительная процедура подвела Шишкова к мысли, что некогда существовало несколько праязыков. Об этом, в частности, свидетельствует большой его почитатель Н. Костырь: «Исследования знаменитого нашего Лингвиста Адмирала Шишкова, сравнивавшего одни и те же названия, принадлежавшие первейшим коренным понятиям и предметам слова человеческого, например, Бог, небо, отец, мать, сын, земля, рука и проч., выраженные на двухстах языках древних и новых, образованных и диких народов, — показывают нам, что одно и то же слово имеет несколько (от 4—8) корней, из которых образуются семейства слов: эти корни иногда имеют между собою некоторое сродство, а иногда представляются совершенно отличными друг от друга и не имеют ничего общего»⁵³.

Аделунг, похоже, был того же мнения: «Я не произвожу все языки от какого-нибудь одного; Ноев ковчег для меня запертый форт, и я оставляю в совершенном покое прах

развалин Вавилона»⁵⁴. (Правда, это не мешало ему предполагать, что рай находится в Кашмире, и говорить, что в раю звучал первый язык.)

Но тем не менее всесравнительность в конечном счете заводила в тупик.

— Но с ее помощью выяснилось, что праязыков было несколько. Это же шаг вперед.

— Так-то оно так. Но эта процедура не позволяла выйти за пределы сходства некоторых классов слов: если сходства не оказывалось, то неизбежно воцарялся произвол сопоставлений, а это фактически и был тупик!

Однако всесравнительное направление обладало, как минимум, одним несомненным достоинством! Оно опиралось на идею равноправия языков. Так, Аделунг провозглашает: «Язык Гурона и Гренландца имеет в себе все, чтобы высвиться к языку Платона и Вольтера. И так бесполезен спор о преимуществе одного языка пред другими: все они имеют одинаковое устройство, все они образованы на одной основе; поэтому из каждого из них может быть все, что только сделают из них время, обстоятельство и образованность»⁵⁵. Это был сильный удар по языковому национализму, процветавшему в древнем мире, а потом пережившему подъем в период спора о первенстве языков после падения «еврейской гипотезы».

И тут я хочу подчеркнуть еще один момент: даже в начале XIX века история человечества исчислялась в лучшем случае несколькими тысячами лет. Так, египтян воображали чуть ли не первыми людьми. Соответственно и все этапы движения языка — от первых криков до грамматически развитого состояния — представлялись весьма непродолжительными. «...Как первый язык дитяти, — писал Аделунг, — состоит в лепете односложных слов, так языки и первых взрослых детей природы состоят из такого же лепета, и Тибетец, Китаец так же точно лепечут еще и теперь, как они лепетали еще лет тысячу тому, в самой колыбели их рода»⁵⁶. Тем самым поиск начала речи сильно облегчался, ведь течение языка казалось прозрачным почти до самого истока. Иными словами, если сейчас дописьменная история представляется на порядок длиннее письменной, то еще в первой половине XIX века они казались равновеликими.

Аделунг попытался выбраться из тупика и нарисовать детальную картину естественного происхождения языка.

Человек от рождения был наделен способностью «сознательно воспринимать впечатления телесного мира, лежащего вне его, собирать признаки их, выра-

жать их так же точно, как он воспринял, и чрез это приуготовлять для себя все богатство будущего познания»⁵⁷. Первый период развития языка — односложность (на этом-де как раз и остановился китайский язык). Односложные элементы — сначала только гласные звуки (так же думал и Шिशков, ведь здравый смысл ведет в одном направлении). Образцы таких слов сохранились в развитых языках. Аделунг приводит примеры из греческого и «таитского» языков. Он берет греческие слова: αω — дую, εω — емь, εει — он есть, εαω — дозволяю, αει — всегда и пр., таитские: Ао — день, Е-jow — нос, аі — он есть и др.

Кстати, это доказательство содержит порочный круг: приводимые слова считаются сохранившимися первоначальный звуковой облик, поскольку первый язык состоял исключительно из гласных; в свою очередь, считается, что первый язык состоял из гласных звуков, так как соответствующие слова есть в обоих языках.

Затем язык пополняется согласными, и первые слова — именно подражательные. Да, Аделунгу известны аргументы против звукоподражательной теории: что лишь немногие слова — подражательные; что одинаковые звуки по-разному выражаются в разных языках, за исключением разве крика кукушки; что во множестве слов («абстракция», «сой» и др.) нет никакого сходства со звуками природы. Но он опровергает эти доводы. По его мнению, найти прямое подражание вообще нельзя. Оно возможно только тогда, когда звук природы постоянен. Крик кукушки постоянен, потому он и одинаков в большинстве языков. Чаще же всего *определенные звуки* природы (гром, шум дождя и пр.) весьма разнообразны. Соответственно и обозначающие их слова будут разными. Тем более *неопределенные звуки* природы: несходство их изображения будет еще разительнее. К тому же оно усиливается первобытным косноязычием. Следовательно, «язык является как выражение не чисто слышимого природы, но как выражение мысленно слышимого или воображаемого слышимого»⁵⁸. Эти первые слова — грубые ощущения, но не понятия о вещах; междометия, но еще не слова: «тресь», «бух», «бах» и т. п. Развитие языка идет таким путем...

— Погоди! Получается, что Аделунг спас звукоподражательную теорию?

— Спасти-то он её спас, но какой ценой! Если до Аделунга, отыскав слово, звучание которого подобно значению, можно было говорить, что найдено слово первого языка, то после Аделунга можно указывать на любое слово и говорить, что оно *первое*, так как оно передает «воображаемое, слышимое». Что мне мешает слышать гром, как «гр-р-ооооо», «л-л-аай» или «сст-оооо-н»? Значит, звукоподражание перестает быть критерием изначальности.

— Но оно осталось как идея создания первого словаря.

— Да, как идея. Идея не ставшая методом.

Дальнейшее развитие языка Аделунг представляет себе так: «При небольшом размышлении человек мог дознать, что звук или междометие может обозначать не только звук, производимый действием предмета, но и нечто сродное с самим действием. Это ближайшее сродное... было — существо, предмет, от которого происходил звук; от этого звука оно получило свое название и дало человеку вместе с тем и первое существительное имя»⁵⁹.

Потом появились глаголы, однако человек отличал их от существительных лишь по значению, но не по форме: «Значительным открытием для него было то, когда он уловил, постиг тайну: переносить впечатления других чувств на чувство слуха. Для такого перенесения прежде всего представилось чувство зрения. Человек заметил, что тело, падая в глубокую пропасть, издает некоторого рода глухой звук, и этот глухой звук сделался у него названием пропасти. Но так как глубина предмета в другом отношении, или с другой стороны, есть вместе с тем и высота его, то человек удержал то же название и для обозначения высоты. Оттого-то мы так часто встречаем одинаковые названия для понятий, по-видимому, противоположных»⁶⁰.

Затем развивается многосложность, хотя «какое темное побуждение (ибо сознательного, свободного движения в этом случае, как и во всяком другом факте языка, и предполагать нельзя) заставило... народы древнего мира сбросить оковы односложности... нельзя объяснить»⁶¹. Но «основание и причина всего того, что мы могли заметить в языке, были уже даны; потому что то, что заставляло подчиниться одинако-

вой норме, общеединному правилу целую массу людей, вместе живущих, одинаково чувствующих и мыслящих, не могло быть произвольным»⁶². Общим же было смутное ощущение наличия какой-то нормы и необходимости ей следовать.

Аделунг убежден, что эта норма естественна, что части речи заданы самой природой. Раз в природе все разделено на деятелей и их признаки, действия и их признаки, то нужно это и обозначить. Необходимо «...грубые, первоначальные ощущения, разъясненные наконец до степени представлений, разделить на такие классы, на какие разделила их сама природа»⁶³. Односложные слова обозначали единичные факты, и связи между ними были очень путанными: один и тот же звук мог быть и существительным, и прилагательным, и глаголом. Постепенно звуки закрепляются за группами значений — возникают грамматические классы слов. «Деятельные предметы» попадают, например, в разряд слов мужского рода, а испытывающие действие — женского. Позже это разделение искусственно переносится на все предметы и признак рода оказывается у предметов, которые в принципе не могут его иметь. Скажем, «свет» обретает мужской род, а «лампа» — женский. Грамматика делает язык таким, каков он в настоящее время.

Особенность этой картины в том, что средневековую палитру используют в соответствии с принципами здравого смысла Нового времени. Поэтому, прежде чем вести вас дальше, я хочу обсудить эти принципы.

— Зачем это нужно? Собственно говоря, переходя от картины к картине, ты и ведешь нас к истокам языка. Мы уже и так пришли от первых набросков к грандиозному полотну, написанному Аделунгом. Конечно, на нем нужно еще прописать кое-какие детали, но сама логика картины сомнений не вызывает: сначала простые гласные звуки, обозначающие отдельные простые мысли, потом более сложные звуки и более отвлеченные понятия и т. д. Другой вопрос — последовательность появления отдельных частей речи, но об этом и сейчас никто не скажет ничего достоверного.

— Я понимаю, что рискую надоесть своими методологическими рассуждениями, но это именно тот случай, о котором я говорил, когда осуждал ученых

за излишнее доверие к здравому смыслу при анализе проблем языка.

— Неужели ты хочешь сказать, что движение шло от сложного к простому?

— В определенном смысле это кажется мне куда более разумным.

— Тогда поясни.

— Именно это я и хочу сделать.

И. Х. Аделунг — лингвист. Но он четко сознает, что, говоря о происхождении языка, он покидает пределы своей профессиональной сферы. Он считает, что детальное исследование процессов образования языка — это дело так называемой «философской грамматики». Следовательно, готовясь к написанию картины, которой он предваряет «Митридат», он действительно заимствовал из литературы только то, что представлялось ему несомненным, что носилось в воздухе, или, выражаясь более современно, «составлял философский фон проблемы». Значит, даже Аделунг прекрасно понимает, что холст и способ грунтовки его картины взяты из одной сферы, а краски и модель — из другой. Теперь, надеюсь, понятно, почему я хочу поближе присмотреться к основе и обратной стороне этой картины.

— И что же отсюда следует?

— А следует, что необходимо прежде всего анализировать то, что для Аделунга было несомненным, а несомненным оно было лишь потому, что таковым его полагал здравый смысл.

Итак, Аделунгу очевидно, что развитие языка шло от простого к сложному: усложнялись звуки и усложнялись понятия. Оставим пока в стороне звуки и обратимся к понятиям. Наиболее простые для Аделунга понятия — это имена собственные, названия единичных вещей. Впервые об этом, похоже, заговорил известный английский философ Дж. Локк. Он считал, что в современных языках большинство слов обозначает *общие идеи*. Но первые слова обозначали *единичные идеи*. Хотя, по его мнению, лучше, удобнее, когда слова обозначают целые классы предметов: «Такого выгодного пользования звуками достигли только благодаря развитию идей, знаками которых стали эти звуки: общими становятся те названия, которыми

обозначаются общие идеи, а единичными названия остаются тогда, когда единичны идеи, для которых они употребляются»⁶⁴.

Переход от имен собственных к нарицательным можно наблюдать у ребенка, и так же все, несомненно, происходило у первых людей. Таким образом, первые слова были похожи на такие имена, как Вася, Яя, Ямал. Но память не могла удерживать такое множество слов, ведь для каждого явления, каждого предмета нужно было иметь свое слово! И тогда из экономии стали обозначать одним словом несколько предметов: появились имена нарицательные — вот суть мыслей Локка.

Однако все это оспорил Лейбниц. Он задал простой вопрос: а может ли существовать хоть какое-то время язык, все слова которого — имена собственные? И сам же уверенно ответил: нет. На таком языке никакое суждение высказать невозможно. А если язык не способен порождать суждения, то зачем он? Ведь «невозможно было бы разговаривать, если бы существовали одни только имена *собственные* и не было бы никаких *нарицательных* имен, т. е. если бы существовали слова только для обозначения индивидов, так как каждую минуту возникают все новые слова, когда дело идет об индивидах, событиях и в особенности о действиях, представляющих то, что мы обозначаем чаще всего»⁶⁵. Имена собственные были бы бесполезны еще и потому, что «главная цель языка заключается в том, чтобы возбудить в душе того, кто меня слушает, идею, сходную с моей. Поэтому достаточно сходства, которое дается общими терминами»⁶⁶.

Более того, рассуждает Лейбниц, можно показать, что имена собственные первоначально были нарицательными: «Известно, что первый Брут получил это имя вследствие своей кажущейся тупости, что Цезарем называли ребенка, извлеченного путем чревосечения из утробы матери, что название «Август» означало слово, выражающее почитание, что Капитон означало «большеголовый», как и Буцефал, что Лентул, Пизон и Цицерон были именами, дававшимися вначале тем, кто выраивал по преимуществу известные сорта овощей... Наконец, *Альпы* — это горы, покрытые снегом (чему соответствует *album, blank, а Бреннер*

или Пиренеи означают большую высоту, так как брег у кельтов значило „высокий“ или „глава“⁶⁷.

Если принять факт происхождения имен собственных от имен нарицательных, то, казалось бы, язык должен был развиваться от более общих терминов к частным. Но ведь нельзя отрицать и того факта, что все абстрактные имена произошли от названий чувственно воспринимаемых вещей. Так, в слове «время» просматривается древний образ вращения, колеса; «время» родственно словам с корнем «вер-», «верт-» — «вертеться», «вертушка», «повернуть» и др. Слово «дѹх» раньше обозначало «дыхание, воздух» — отсюда и русское «душок». Слово «культура» развилось от латинского *colere* — «возделывать землю». В «науке» проглядывает «ук» — «навык», «привычка», и т. д. Движение значений идет от конкретного к абстрактному. И Локк просто обобщает эту закономерность: раз абстрактное — из конкретного, то само конкретное — из совсем конкретного, т. е. единичного.

А можно ли делать такие выводы? Ясно, что нельзя. Если в языке нет слов, обозначающих классы, то нужно придумывать слова на каждый случай. (И мы оказываемся в положении греков, спорящих о первом *установлении* слов.) Но тогда словарь должен быть бесконечным.

Таким образом, Локк и Аделунг, говоря о раннем языке, не замечают явного противоречия: первых слов было мало, и это были имена собственные; но если они были именами собственными, то их число могло быть только бесконечным. Значит, прав Лейбниц: в языке с самого начала должны были быть слова для классов — имена нарицательные. А они сложнее имен собственных. Одно дело — связать звук с какой-то вещью, и совсем другое — дать имя группе предметов, выделенных по какому-то признаку.

— Хорошо, я согласен, что содержание первых слов должно было быть сложнее, чем простое обозначение единичных бытовых предметов. А как быть со звуками?

— Чуть позже, когда мы обратимся к лингвистике, вы согласитесь, я думаю, с тем, что звуки тоже эволюционировали от сложных, нечетко произносимых комплексов к тем звукам, которые кажутся нам сейчас простыми.

Ну а теперь мы перейдем к временам, когда язык окончательно перестал считаться *божественным* (хотя о его *божественности* вновь серьезно заговорили в XIX веке).

С французским путеводителем

Говорят, что человек — животное общительное. С этой точки зрения мне кажется, что француз больше человек, чем кто-либо другой.

Ш. Монтескье

— Первые широкие полотна, сюжеты которых составляло развитие человеческого общества, были созданы в XVIII веке. В это время возникла потребность выстроить историю логически, без оглядки на Священное писание. И вот Джамбатиста Вико в своей удивительной книге «Новая наука», рисуя катящееся колесо истории трех эпох — богов, героев и людей, намечает и контуры истории языка. В первую эпоху язык состоял из немых жестов, обращенных к богам. Разговаривать звуками тогда еще не умели. В эпоху героев складывается язык гербов: как на рыцарском гербе изображение сопровождается девизом, так и героический язык — это жесты-символы, перемежающиеся словами. И наконец, в эпоху людей появляется разговорный язык, возникающий «из духа свободного соглашения».

Вико впервые, насколько мне известно, представил рождение языка как рождение системы (а не как увеличение числа слов): сначала междометий, а затем местоимений, затем артиклей, предлогов, имен... Это и задает формы предложений: первые по времени части речи стоят в предложении первыми, вторые — вторыми и т. д.

Позднее, в середине XVIII века, много спорили о том, какая часть речи появилась первой. Э. Б. де Кондильяк и А. Смит считали первыми словами имена существительные; А. Р. Ж. Тюрго — существительные вместе с глаголами (причем, по его мнению, глаголы выражались жестами), И. Г. Гердер — глаголы, Д. Дидро — прилагательные и т. д.

— Кто же из них оказался прав?

— Да никто. Ведь выражение «часть речи» подразумевает уже сложившуюся грамматическую систему, т. е. язык. И если даже предположить, что когда-то в самом деле были *первые слова* (до языка!), невозможно представить, чтобы они имели отчетливые грамматические характеристики. Иначе говоря, этот спор не имел смысла.

Но Вико, как я уже сказал, языка касается попутно. Вплотную им занялся Кондильяк. В своем «Опыте о происхождении человеческих знаний» он представил первую развернутую концепцию возникновения и развития языка. Сделал это он настолько ярко, что интерес к заданной им теме вспыхнул не только во Франции, но и в Англии, Германии и других странах. Его увлеклись астроном и геодезист Мопертюи, экономист Тюрго, статистик Зюссмильх, филолог и историк Гердер и другие.

На конкурс, объявленный в 1769 г. Берлинской академией наук, было прислано 30 сочинений. Участникам были предложены вопросы: «Если бы люди были оставлены при их врожденных способностях, то были бы они в состоянии изобрести язык? И какими способами они могли бы сами собою дойти до такого изобретения?».

И можно сказать, что только в середине XVIII века был серьезно поставлен вопрос о происхождении языка — не слов, не логически конструируемой структуры, а человеческого языка как формирующейся системы знаков в развивающемся обществе.

Я не буду говорить о каждом сочинении отдельно, отмечу лишь важнейшие проблемы, поставленные в них. Но вот содержание книги Дж. Б. Монбоддо «О происхождении и прогрессе языка» — самого капитального труда на эту тему, написанного в традициях Кондильяка, — я собираюсь пересказать подробно.

Итак, проблемы. Первая: как развивались значения слов? Так вот, все ученые сходились в том, что это развитие значений шло от более общих к менее общим. Со всей определенностью это сказано уже у Кондильяка: «Понятие золота, например, вначале было, вероятно, лишь понятием желтого и очень тяжелого тела; спустя некоторое время опыт побудил прибавить к нему ковкость; последующий опыт — тягучесть или огнестойкость; и так постепенно все качества, из которых самые искусные химики создали

ту идею, какую они себе составили об этой субстанции»⁶⁸. У Лессинга же можно найти лапидарное: «„Дерево“ более древнего происхождения, чем „дуб“, „ель“, „липа“»⁶⁹.

Вторая проблема: мог ли человек создать язык в одиночестве? Мог, — отвечал Мопертюи. Но почти никто не поддержал его. Тюрго, например, писал: «Одиноким человек, такой, как его предполагает ... Мопертюи, не пытался бы искать признаков, чтобы обозначить свои восприятия: только в присутствии других людей человек ищет такие признаки»⁷⁰. И к концу XIX века постулат «человек — продукт общества» стал общим местом.

Третья проблема: что было первой единицей языка — слово или предложение? Сложилось ли предложение из слов или слова появились в результате дробления более крупных единиц? Мопертюи отстаивал вторую — по всей вероятности, очень продуктивную — идею. Однако в то время и позже, практически до работ О. Есперсена, вышедших в первой половине XX века, побеждала идея постепенного увеличения языковых единиц. Так считают и многие современные ученые.

Четвертая проблема: какая часть речи возникла первой? Некоторые ответы на это я уже упоминал.

Пятая проблема: каковы источники речи? Самый полный их список дал Шарль де Бросс⁷¹:

1) междометия, т. е. голоса печали, радости, отращения и т. п.;

2) слова, обусловленные устройством голосового аппарата, слова младенцев, которым их не надо учить: «баба», «мама», «няня»;

3) группа слов, корневые звуки которых как бы заданы органами: «горло», «язык», «зуб» и некоторые другие.

— Как это, органами?

— Очень просто. В слове «горло» вы произносите «горловой» звук «г», а слово «язык» вы начинаете со среднеязычного «й»... Кстати, я точно перевел французские слова, и оказалось, что русские слова в этом плане совпадают с французскими их прототипами;

4) слова «подобнозвучные». Это и слова, звучание которых напоминает звучание обозначаемых ими предметов и действий: «шуршание», «грохот», «жужжечество»

лица», и слова, которые передают ощущение от обозначаемого: «трепыхаться», «ласка» и т. п.;

5) слова «звукосимволические»: например, звуковое сочетание «ст» как бы символизирует устойчивость: СТоять, СТатуя, СТан и др.

Руссо говорил о таких источниках языка, как междометия и звукоподражание, не очень, впрочем, различая их. Зато он считал, что язык жестов порожден потребностями, а язык звуков — страстями. Тюрго называл три источника: междометия, звукоподражание, «лепетные» звуки. Гердер первыми словами считал звукоподражательные глаголы.

Шестая проблема: какова главная черта языка? В немецкой традиции, например, складывается понятие языка как творческой способности, а не просто как системы знаков, что позже нашло блестящее выражение в трудах Гумбольдта.

Седьмая проблема: становится ли язык лучше или хуже. Некоторые, в частности Л. И. Бьесобр и Зюссмильх, считали самыми совершенными древнейшие языки. А. С. Джонсон выразился афористически: «Языки, как и правительства, имеют естественную тенденцию к вырождению». Другие (и среди них де Бросс) были уверены, что хотя слова и утрачивают первоначальную непосредственность чувства, в целом языки становятся правильнее и проще. О вырождении языка спорили вплоть до XX века, но подробнее об этом пусть скажут другие.

Восьмая проблема: что было вначале — один язык или множество их? Тюрго и де Бросс настаивали, что каждая человеческая семья имела свой язык, но по мере объединения людей число языков уменьшалось, языки сливались и потому-то так много синонимов в современных языках. Монбоддо считал, что праязыков было мало. Зюссмильх и Мопертюи, по-видимому, верили в существование одного праязыка.

И наконец, девятая, самая популярная проблема: какое влияние на первый язык оказали климат и образ жизни? (Это было возрождением идей Эпикура.) Увлеченно и много рассуждали о том, чем язык северян отличается от языка южан, что характерно для речи пастухов-горцев, а что — для речи земледельцев. И глубже всех, пожалуй, осознал связь образа жизни и языка лорд Монбоддо, установивший, что своими

корнями язык уходит в совместную хозяйственную деятельность.

Эдинбургский профессор Джеймс Барнет Монбоддо не получил своевременного признания в своем отечестве. Но когда Гердер познакомился с его работой, он решительно объявил, что Монбоддо — первый авторитет в вопросах происхождения языка.

С точки зрения Монбоддо, язык — это выражение идей с помощью артикулированных звуков. Появлению языка предшествовали, во-первых, достаточно развитые общественные отношения; во-вторых, сформировавшиеся органы произношения; в-третьих, длительный опыт общественной жизни; в-четвертых, возникновение комплекса устоявшихся идей; в-пятых, высокая развитость ума, сообразительности.

Материалом для праязыка послужили неартикулированные звуки, подобные крикам животных. Развивалась же способность к произношению в основном путем подражания голосам птиц. Сначала звуковые комплексы различались повышением и понижением тона и лишь потом — четким произношением отдельных звуков. Постепенно оформились гласные гортанные звуки — в их произношении язык и губы практически не участвуют. Поскольку чистые гласные появились под влиянием птичьего пения, первый язык был очень музыкальным.

Содержание первых слов было размытым. Это были не глаголы или имена, а знаки неопределенных желаний, которые лишь постепенно преобразовывались в части речи. Синтаксические отношения выражались специальными словами, что делало первоначальный синтаксис очень несовершенным. И потому звуковой язык очень напоминал предшествующий ему язык жестов. В общем, люди толком не знали, как присоединять слова друг к другу, и делали это как придется.

Согласно Монбоддо, о числе первоначальных языков можно лишь гадать. Существовали праязыки у отдельных народов, точнее, у отдельных языковых семей. Значит, языков-предков было немного — десяток-полтора. (Это почти соответствует современным представлениям о числе языковых семей.) Сравнивая европейские и азиатские языки и анализируя историю человечества, Монбоддо приходит к выводу, что праязы-

ком всех азиатских, европейских и северных африканских языков был египетский. В частности, он считает, что дорийцы и ионийцы говорили на диалектах египетского языка, что Афины были египетской колонией и что колониями Египта были также Вавилон и Халдея.

Монбоддо настаивает на том, что разобщенные люди изобрести язык не могли. Они вынуждены были объединяться для защиты от диких животных, друг от друга, от враждебных племен. Причем объединяла их не только, так сказать, политическая организация, но общая хозяйственная деятельность. Эта же деятельность заставляла использовать орудия труда. А использование орудий (в первую очередь — палки) требовало абстрактного мышления и поэтому предшествовало языку. Использование орудий — это, по Монбоддо, отличительный признак рода человеческого, так как любой орудийный акт никак не может быть инстинктивным.

— Выходит, Монбоддо превзошел трудовую теорию происхождения языка?

— Да. Но эти его идеи сильно опередили время. (Так же, впрочем, как и его идея о происхождении человека от обезьяны: Монбоддо просто высмеяли.)

Обратите внимание, насколько идеи Монбоддо глубже идей Аделунга. Монбоддо идет от понимания языка как естественного образования и последовательно развивает эту мысль, тогда как Аделунг остается в рамках досистемного понимания языка.

К началу XIX века развитие конкретных наук положило конец чисто философским спекуляциям на тему происхождения языка. Поэтому дальше об этом должны говорить лингвисты, биологи и прочие.

— И ты не хочешь подвести итог?

— Пожалуй, нет. Представленные картины говорят сами за себя, а повторять общие соображения неинтересно. Скажу только, что, прежде чем двигаться дальше, нужно выбрать хороший путеводитель. Им может стать трудовая теория происхождения языка. К ней я и перехожу.

— А я предлагаю отвлечься. У меня из головы не выходит Головин. Кажется, мне даже удалось переложить его «туки» и «бамы» на былинковый лад. Вот послушайте.

Былинка про веселого камнетеса

Сперва-то человек неважно жил. А хотел, конечно, лучше. Ну и стал долбить камни. И вот как-то, сто тысяч или миллион лет назад, поел камнетес саблезубой тигрятины, запил ее дынькой цамма, отдолбил и пошел своим главным делом заниматься. Солнышко светило, птички пели, и работа шла радостно: бум-бум! — тюк-тюк! — бум-бум! — тюк-тюк! И захотел человек попеть. А как петь, если еще не говоришь? И начал он со своими камнями «перезваниваться». Они ему: бум-бум!, а он им: бу-бу!, они ему: тюк-тюк!, а он им: тю-тю! Сначала не очень похоже получалось, но все же что-то вроде песни — дело еще веселей пошло.

Со временем стали ему подражать другие камнетесы. Сидят они рядком, булыжником по булыжнику колотят и друг с другом перекрикиваются: Бу-бу-у! — Тю-тю-у! — Бум-бу-у-ммм! — Тюк-тю-у-ук! И весело, и работа идет — живи да радуйся!

Люди и привыкли. Поедят, попьют, а потом встанет тот первый камнетес и скажет: Бам-бам! — «пошли камни долбить». А как придут на место, возьмет он камень и: «Бам-бам!» — вот, мол, взял камень. Все смотря, восхищаются, кивают ему: здорово, мол, дай-дай-дай! Человеку приятно, что его хвалят, он и старается. Сочинил «тюк-тюк», потом «бух-бух» и «трах-тарарах»... Остальные за ним повторяют, и вроде разговор идет. Камнетес возьмет большой булыжник: Бам-бам! — остальные скажут: ба-ба! Возьмет поменьше: Тюк-тюк! — остальные: Тю-тю. Схватит кость: Крак-крак!, а все: Кра-кра! Повторяют, запоминают. Тут и детишки вертятся.

Сидит как-то камнетес, камни у него кончились, а руки зудят — еще бы подолбить. Вот он и крикнул ребятенку: Бам-бам! Тот не понял. Он еще раз: Бам-бам!.. Тот посмотрел на него, подумал... и приволок большущий булыжник. В другой раз камнетес зовет того смышленного мальчонку: Крак-крак! Тот понял — и притащил кости. И пошло, и пошло: от «бама» — одни слова, от «крака» — другие, от «тюка» — третьи. Из «бама» получились «долби» и «булыжник», «наковальня» и «тот, кто бамает». Из «тюка» — «стучи», «камешек», «тот, кто тюкает»... И если к любому язы-

ку присмотреться, видно, что почти все слова к нам прямехонько от тех самых «бамов», «бацев» и «тарахов» идут.

— Ну как, отдохнули? А теперь продолжай.

У исходного рубежа

*Там, где голос мой раздастся,
Поломаются кусточки,
Сами свалятся деревья,
Сами сложатся вязанки,
Поползут на двор к нам сами,
Сами сруб на нем построят...*

Эстонская народная песня

*Голова у него поднята, как у князя
и царя, дабы язык и руки служили
мышлению и труду.*

Г. Татеваци

— Почти за четырнадцать веков до Моцбоддо о связи речи и труда говорил знаменитый Григорий Нисский: «Как... музыканты с родом орудий сообразуют и музыку, на лире не свиряют и свирели не употребляют вместо гуслей, так, подобным сему образом, и для слова нужно было соответственное устройство орудий, чтобы, согласно с потребностью речений, изглашалось слово, образуемое голосовыми членами. Для сего-то приданы телу руки... Если бы человек лишен был рук, то у него, без сомнения, по подобию четвероногих, соответственно потребности питаться устроены были бы части лица... Поэтому, если бы у тела не было рук, то как образовался бы у него членораздельный язык, когда устройство рта не было бы приспособлено к потребности произношения? Без сомнения, необходимо было бы человеку или блеять, или мычать, или лаять, или ржать, или реветь подобно волам или ослам, или издавать какое-либо зверское рыкание. А теперь, когда телу дана рука, уста свободны для служения слову. Следовательно, руки оказываются принадлежностью словесного естества; Творец и их приспособил для удобства слову»⁷². Эти мысли епископа Григория не были преданы забвению, и через тысячу лет на них ссылались богословы и философы.

Но, конечно, серьезный анализ связи речи и трудовой деятельности начинается лишь в XIX веке. Тру-

довая теория формировалась в рамках филологии и философии. Филология дала концепции Л. Гейгера и Л. Нуаре, философия — марксистскую теорию возникновения языка (которая включила также и достижения филологов, задав новые основания их концепциям).

Начнем с филологов. Известный немецкий языковед Л. Гейгер, изучая корни слов индоевропейского праязыка, заключил, что первичные слова развились из глагольных основ. Они родились как обозначения действий.

— Так ведь об этом говорил еще Гердер!

— Да, мысль не новая. Но в работах Гейгера она стала не просто идеей, но методом. Идея того, что первые корни означали действия, прослеженная на обширном материале, зазвучала свежо и убедительно. Гейгер предположил, что предки давали имена лишь тому, чем и с чем они работали и охотились, но речь появилась задолго до того, как они начали использовать орудия. Он ссылаясь на тот простой факт, что в языке долго сохраняются следы минувшего. (Так, мы продолжаем говорить о «лошадиных силах» в век пара и электричества, говорим «стрелять», хотя используем при этом пули, а не стрелы, и т. д.) Гейгер возвел это в принцип и приложил его к первобытным временам.

У него получилось, что названия тех действий, которые требовали орудий, вторичны по отношению к названиям действий, производившихся без орудий. «Возьмем, например, слова: молоть, мельница, по-немецки mahlen, Mühle, по латыни molo... Известный еще в глубокой древности способ растирания хлебных зерен между двумя камнями настолько как будто несложен, что мы, казалось бы, можем предположить его известным в той или другой форме также первобытному времени. И все-таки это слово (молоть), которое мы теперь употребляем для обозначения работы определенного орудия труда, берет свое начало из другого, еще более простого представления. Корень mal или mag, весьма распространенный в индоевропейской ветви языков, обозначает „растирать пальцами“, а также „раздроблять зубами“. На немецком языке два различных слова, происходящие из родственных корней, совершенно совпадают по звуку: mahlen (молоть зерно) и malen (писать картину). Оба слова имеют одно пер-

вичное значение: тереть или гладить, мазать пальцами»⁷³.

Таким образом, язык рождается в деятельности, но в деятельности не животной, а истинно человеческой, когда люди изготавливают *орудия труда, утварь и оружие*.

Гейгер сформулировал закон, согласно которому орудие труда получает имя по производимому действию («пила» — то, что пилит, «бритва» — то, что бреет, «пуга» — то, что опутывает). Утварь получает имя либо по материалу («мех» для вина), либо по той работе, которая необходима для ее изготовления («долбленка», «пряжа»). Оружие, в зависимости от способа применения, называется либо по производимому действию («секира» от «сечь», «таран» от «таранить»), либо как утварь («кольчуга» от сплетенных колец). Однако особый интерес для Гейгера представляют названия орудий труда, так как по ним можно восстановить историю человека.

Самым первым орудием была мысль, она заменяла человеку естественные орудия — рога, зубы, когти... животных. Но до начала производства орудий мысль вплеталась в деятельность и не могла прозвучать в словах. Только благодаря орудиям мысль определяется, *отчуждается* от деятельности, становится зримой. Человеческий язык делается описательным: предмет обозначается звуком, напоминающим этот предмет, и звук отделяется от непосредственного переживания: «...язык помогает различать видимый предмет не по тому чувству, которое он возбуждает... не поскольку видимый предмет внушает страх или манит, причиняет боль или удовольствие, а исключительно по его видимым признакам: поэтому слово... допускает спокойное, вдумчивое воспоминание»⁷⁴.

Эти идеи Гейгера и развивал далее Л. Нуаре, внося в них важные уточнения. Во-первых, ему становится ясно, что слова могли рождаться только в коллективном труде. Следовательно, первыми корнями были звуки, сопровождавшие коллективные действия, т. е. ритмические восклицания. Во-вторых, Нуаре показал, как человеческая мысль объективируется в процессе орудийной деятельности. Для того, чтобы некое явление было осознано, оно должно предстать как внешнее человеку, в отчужденной форме. И закономерно, что сам

язык увидели лишь тогда, когда он объективировался в письме, понимание внутренней конструкции уха стало возможным только после изобретения роля...

Необходимость объективации идеального была осознана в немецкой классической философии. Поэтому и Маркс говорил, что история промышленности является «...чувственно представшей перед нами человеческой психологией»⁷⁵.

Появление ножа делает возможным появление слова «резать», но не наоборот. «Трудом достигаемые модификации внешнего мира рождаются с теми звуками, которые сопровождают работу, и таким путем эти звуки приобретают определенное значение. Так возникли корни языка, те элементы или первичные клочки, из которых выросли все нам известные языки»⁷⁶.

— Так что же, Нуаре предвосхитил марксистскую концепцию происхождения языка?

— Да, работы Нуаре стали этапом ее формирования. Не случайно их так ценил Г. В. Плеханов. Однако марксистская теория расходится с теорией Нуаре по меньшей мере в двух пунктах. Во-первых, Нуаре не вполне последователен в рассуждениях о том, что появляется раньше — язык (и разум) или орудийная деятельность. Он все же склоняется к мнению Гейгера, что раньше возникают разум и язык. Напротив, Энгельс в «Диалектике природы» показывает, что именно труд с использованием орудий стал предпосылкой разума и языка. И современные исследования подтвердили правоту Энгельса.

Во-вторых, Нуаре утверждал, что осознать себя человек начал в процессе коллективного труда и перенося свое отношение к орудию на весь мир. Маркс же показал, что самосознание человека возникает только в его отношении к другим людям. Сознание рождается не просто потому, что люди впряжены в одну упряжку, а потому, что они начинают видеть мир сквозь свои отношения друг к другу.

Поэтому если Гейгер и Нуаре — вслед за классическими немецкими философами — считали язык прежде всего средством самовыражения, то Маркс и Энгельс — средством общения. Так, о действиях первобытных людей с определенными предметами Маркс пишет: «Благодаря повторению этого процесса способность этих предметов „удовлетворять потребности“ людей запечатлевается в их мозгу, люди и звери научаются и „теоретически“ отли-

чать внешние предметы, служащие удовлетворению их потребностей, от всех других предметов. На известном уровне дальнейшего развития, после того как умножились и дальше развились тем временем потребности людей и виды деятельности, при помощи которых они удовлетворяются, люди дают отдельные названия целым классам этих предметов, которые они уже отличают на опыте от остального внешнего мира. Это неизбежно наступает, так как они находятся в процессе производства, т. е. в процессе присвоения этих предметов, постоянно в трудовой связи между собой и с этими предметами, и вскоре начинают также вести борьбу с другими людьми из-за этих предметов. Но это словесное наименование лишь выражает в виде представления то, что повторяющаяся деятельность превратила в опыт, а именно, что людям, уже живущим в определенной общественной связи (это — предположение, необходимо вытекающее из наличия речи), определенные внешние предметы служат для удовлетворения их потребностей»⁷⁷.

— Но как эти общие положения превратить в средство продвижения к истокам языка? И можно ли вообще это сделать?

— Трудовая теория (которую в западной литературе называют «теорией Нуаре — Энгельса») постепенно завоевывала все большее число сторонников. Ведь только она позволяла вписать человеческое мышление в реальную историю. Изучив следы трудовой деятельности — каменные орудия, остатки жилищ, охотничьих стоянок и пр., мы можем судить об умственных способностях первобытных людей. Выделяя этапы усложнения трудовой деятельности, мы выделяем и этапы развития умственной деятельности, и этапы развития средств общения, в том числе и языка. Здесь, понятно, прямой связи нет, но нет и иных путей.

Очень важно понять, что орудия совершенствуются не потому, что люди *генетически* наделены даром делать их все лучше и лучше. Развитие культуры — это *передача новых навыков*. Значит, нужно совершенствовать именно *способность обучаться*. Но об этом — после.

— Однако об эволюции человека можно судить по изменению условий его жизни. Оледенения, скажем, заставили строить жилища или селиться в пещерах, вынужденное соседство с северными оленями, пещерными медведями и шерстистыми носорогами побудило менять способы охоты. Но тогда вид деятельности вторичен, а природные факторы первичны и связывать

развитие языка с эволюцией орудий нельзя. Резкое изменение природных условий могло породить и звуковую речь, но ты об этом почему-то молчишь.

— А сам-то ты можешь вывести язык из перемены климата?

— Пожалуйста. Продвижение на север, где день короче, а мяса надо больше, вынуждает охотиться и ночью. Жесты, если ими и объяснялись раньше, ночью не помогут. Остается одно — придумать звуковую речь.

— Решительно не согласен. Перемены климата, конечно, вызвали изменения фауны, а те — способов охоты. Но это не могло стать причиной появления орудий, они уже были и могли лишь усовершенствоваться. Если звукового языка не было на юге, то из перемещения на север он не возникнет. Объяснять происхождение языка изменением внешних условий — это все равно, что утверждать, будто, когда наш предок слез с дерева, ему стало полезно подпрыгивать и летать и он отрастил крылья.

— Ты хочешь сказать, что звуковая речь была всегда?

— В известном смысле — да. Ведь и у обезьян сильно развито звуковое общение.

— Так ты считаешь, что язык человека не отличается от тех сигналов, с помощью которых животные общаются друг с другом?

— Думаю, что отличается, но давайте об этом чуть позже.



Глава вторая

С лингвистическим компасом

(Рассказ лингвиста)

Лингвист, настаивающий на том, что латинский тип знаменует высший уровень языкового развития, уподобляется тому зоологу, который стал бы видеть во всем органическом мире некий гигантский заговор для выращивания скаковой лошади или джерсейской коровы.

Э. Сепир

Былинка о счастливой долине и болтуне¹

Это давным-давно было, мильон лет назад. На земле тогда совсем неуютно было: болота, грязь непролазная; а тут еще похолодание началось, с севера льды пошли. Человечки тогда были маленькие, как собачки, шерстистые и ходили на четвереньках. Какое-то время мех спасал их от холода, а потом стало вовсе плохо. Домов у них не было, а кругом сырость, мошкара, ледяной ветер... И, тоскуя, побрели человечки на четвереньках в теплые края. Пока шли, немного выпрямились. Дошли до Сарматского моря, попробовали об-

житься. Прожили почти четверть миллиона лет, а привыкнуть так и не смогли: все манит и манит куда-то.

Земля за это время подсохла, и человечки дальше подались. Совсем выпрямились. И в один прекрасный день открылась перед ними долина в горах. И до чего же там было хорошо! Сухие уютные пещеры, дров сколько угодно! Стада непуганых мамонтов ходят, на скалах сытые пещерные медведи и саблезубые тигры греются, реки форелью и осетрами кишат. Понравилось человечкам, обжили они ту долину. От тепла и довольства даже подросли: стали нам примерно по поясу, но еще на обезьян были похожи — коричневые, шерсть густая, зато смысленней их и любопытней сделались. Потом законную охоту освоили. Камнями зверей били, палками — птиц. Лодки придумали, чтобы рыбу добывать. В хлопотах и заботах мир узнавали: что в нем съесть можно, что выпить, кого убить, а от кого убежать. Росли понемногу.

Не прошло и четырехсот тысяч лет, как они от «нам по поясу» до «нам по подмышку» доросли. От хлопот, суеты мех у них помаленьку вылезать стал. В это-то время и появилась у них одна дурная привычка — что-то себе под нос бормотать. Старикам это очень не нравилось, но бороться с этим бесполезно было. Привычка эта, видно, от одного болтуна пошла. Лезет он в свою пещеру и важно-преважно говорит: «Андар!». Наружу торопится: «Бандар». Молотком стукнет: «Кат!». И так все время. Дурные привычки, известно, быстро прилипают. Детишки за ним повторять начали. Вроде глупость, да иногда от этого и польза бывала. К примеру, в темноте кто-то крадет, и не понять, то ли мамонт, то ли мышь. И вдруг слышится: «Хар-хар-хар». И сразу ясно все: болтун идет.

Еще сто тысяч лет прошло. Люди уже совсем на нас похожими стали: и рост, и шерсть почти вся вылезла. А от дурной привычки избавиться так и не сумели — говорят что в голову придет. Да еще по три-четыре слова соединяют. Правда, не всегда друг друга понимают. Скажет карапуз матери: «Нам пота дур по» («Мы лодка далеко гулять»). А мать нашлапает: нельзя на лодке далеко плавать, нельзя баловаться! Он в рев: сказать-то он хотел, что их лодка семейная отвязалась и по реке поплыла. Ну да все к лучшему: хочешь, чтобы тебя правильно понимали, — думай, как

точной сказать. Думали-думали люди и за каких-нибудь двести сорок три тыщи лет придумали дравидийский язык, да вскорости и остальные.

В джунглях флексии

*И виснут надо мной полунагие сучья,
А мысли между тем слагаются в созвучья,
Свободные слова теснятся в мерный строй.*

А. К. Толстой

— Раз уж существует языкознание, оно, казалось бы, и должно доискиваться до причин происхождения языка. Но откройте, к примеру, книгу Дж. Лайонза «Введение в теоретическую лингвистику» — в ней нет даже упоминания об этой проблеме². И вообще, хотя языковеды и любят иногда порассуждать о формах первоначального языка, о поэтической близости первых слов к природе и к человеческим чувствам, об этапах становления языка, о моно- и полигенезе и тому подобном, все это остается для них за пределами узаконенной компетенции.

Но так было не всегда. До середины XIX века поиск первого языка — одна из главных забот лингвистов. К этому времени сравнительно-исторический метод достигает огромных успехов в реконструкции праязыков и лингвисты начинают думать, что могут таким путем открыть древнейший язык человечества.

Открытие санскрита (который сохранил многие формы, утраченные древнегреческим и латынью) породило надежду восстановить язык, названный «индоевропейским праязыком». Считалось, что из этого языка выросло огромное количество языков, объединяемых сейчас в «индоевропейскую семью».

Забавно видеть, как творцы нового языкознания, строго ограничив свой предмет эволюцией *звуков и форм*, продолжают по инерции писать о «состоянии *людей*»: «Из соотношения языков, которое дает нам более надежные данные о родстве отдельных народов, чем все исторические документы, можно сделать заключения о первобытном состоянии людей в эпоху сотворения и о происшедшем в их среде образовании языка»³.

Возникновение и развитие языка компаративисты (т. е. те, кто работает в рамках сравнительно-исторического языкознания) представляют себе так. Он на-

чинался с простых звукосочетаний, которые обозначали отдельные предметы и состояния. Как пишет Я. Grimm, «проявления языка просты, безыскусственны, полны жизни, подобны быстрому обращению крови в молодом теле. Все слова кратки, односложны, образованы почти исключительно с помощью кратких гласных и простых согласных; слова теснятся густой толпой, как стебли травы. Все понятия возникают из чувственно ясного созерцания, которое уже само было мыслью и от которого во все стороны распространялись элементарные новые мысли. Соотношения слов и представлений наивны и свежи, но выражаются без прикрас последующими, еще не присоединенными словами»⁴.

Но постепенно повторяющиеся элементы начинают складываться в грамматический каркас языка. Род, число, время, залог как бы выносятся за пределы слова и образуют систему окончаний. И Гумбольдт говорит об этом так, как если бы он был очевидцем: «То, что живо чувствуется духом, в периоды языкотворчества, переживаемые нациями, каждый раз воплощается в соответствующих звуках. И поэтому, когда возникло внутреннее ощущение необходимости придать слову, в соответствии с изменчивыми потребностями речи и без ущерба для его постоянного значения и его простоты, двойное выражение, то, исходя из внутренних побуждений, в языках возникла флексия»⁵.

— А что такое «флексия»?

— Флексия — это окончание. А шире — изменчивая часть слова, несущая грамматические характеристики. Возьмем, например, слово «языка». Здесь «язык» — корень, «-а» — окончание. Корень выражает смысл слова, а окончание — место этого слова в системе языка. В данном случае окончание обозначает родительный падеж, мужской род и единственное число. А если бы слово было женского рода, то же самое окончание указывало бы на именительный падеж. Изменив «-а» на «-амй», мы обозначили бы творительный падеж и множественное число. Понимать же смысл, который несет то или иное окончание, мы можем, только зная грамматику языка.

— Значит, если мы не выучим грамматику, то не сможем правильно понимать друг друга?

— Нет, я говорю о внутренней грамматике языка, которую усваивает ребенок, выучиваясь говорить, а не об учебнике грамматики.

Этот период компаративисты называли «эпохой расцвета флексии». «Слова становятся более длинными и многосложными, из свободного расположения слов образуется множество сложных слов... отдельные слова превращаются во флексии и ...составные части флексии становятся неузнаваемыми, но тем более удобными для употребления... Язык в целом еще эмоционально насыщен, но в нем все сильнее проявляется мысль и все, что с нею связано; гибкость флексии обеспечивает бурный рост числа живых и упорядоченных выражений. Мы видим, что в это время язык наилучшим образом приспособлен для стихосложения и поэзии, которым необходимы красота, благозвучность и изменчивость формы; и индийская, и греческая поэзия указывают в бессмертных творениях на вершины, достигнутые ими в свое время и недостижимые впоследствии»⁶.

Со временем форма все больше подавляет свободную мысль и язык начинает постепенно ограничивать флексию: уменьшается количество падежей, времен глагола и пр.

— Послушай, ты не мог бы объяснить, как возникают все эти картины?

— Попробую. А. Шлейхер в книге «Теория Дарвина и наука о языке» исследует эволюцию языка на примере индоевропейского (немецкие языковеды писали «индогерманского») корня со значением «дело»:

«Исходным пунктом в развитии каждого языка были значащие звуки, простейшие звуковые символы для созерцаний, представлений, понятий; они выполняли всевозможные функции, т. е. заменяли собой любую грамматическую форму, между тем как никаких названий, никаких „органов“ для этих функций еще не было. Таким образом, в эту первоначальную пору жизни языка не было ни глаголов, ни имен, ни спряжений, ни склонений и пр. Мы попытаемся, по крайней мере, наглядно показать это на единичном примере. Древнейшей формой для слов вроде современных немецких: That (дело), gethan (сделанный), thue (делай), Thäter (деятельный) в эпоху возникновения древнего индогерманского языка было dha, так как это

dha (...древнеинд.— dha, древне-бактр.— da, греч.— θε, литовск. и славянск.— de = русск. дѣ, готск.— da, верхнегерм.— ta) оказывается общим корнем всех этих слов... На более поздней ступени развития индогерманского языка, чтобы обозначить известные отношения, произносили корни, которые тогда были еще особыми словами, два раза и присоединяли к ним другое слово, второй корень; но оба эти элемента еще не утрачивали своей самостоятельности. Так, чтобы обозначить первое лицо настоящего времени, говорили: dha dha ta; однако в дальнейшей жизни языка эти элементы слились, корни, по свойственной им способности, изменились, и таким путем образовалось dhadhāmi (др.-инд.— dadhāmi, др.-бактр.— dadhāmi, греч.— τίθημι, др. верх.-герм.— tom, tuom вместо tētomi, нов. верх.-герм.— thue). В древнейшем dha таились разнообразные грамматические отношения, и глагольные, и именные, с их видоизменениями, но все они были еще не развиты и не дифференцированы, что можно и теперь наблюдать в языках, которые замерли на простейшей ступени развития»⁷.

— Значит, эта картина развития языка написана строго на материале лингвистики? Или в ней есть что-то сверх того?

— В том-то и дело, что есть. Картина, которую удалось написать Шлейхеру, лингвистически обоснована не больше чем наполовину: языковой материал позволяет проследить процессы уменьшения количества форм, т. е. упадок языка, а существование периода *языкотворчества* лишь предполагается.

— Но что-то ведь наталкивает на такое предположение, не может же оно быть совсем произвольным?

— Конечно, не может. Во-первых, оно логично: если грамматика упрощается, значит, был период, когда она становилась все более сложной (однако «логично» не равно «так было»). Во-вторых, некоторые ученые, опираясь на письменные памятники, которые свидетельствуют об утрате многих форм, считали эти процессы подтверждением теории божественного происхождения языка: язык был дан человеку во всем совершенстве своих форм, но сохранить это богатство люди не способны. На это Гримм возражает: «Пагубной ошибкой, которая, как мне кажется, и затрудняла

исследование праязыка, было бы перенесение... совершенства форм в... более ранние эпохи и в предполагаемую эпоху райского состояния... как флексию сменяет ее собственное распадение, так и сама флексия должна была возникнуть в свое время из соединения сходных частей слов⁸. Но, повторяю, в письменных памятниках процесс соединения не зафиксирован.

Таким образом, действительно наблюдаемый в истории языка процесс — это потеря отдельных форм, замена их самостоятельными служебными словами. Так, русский язык утратил звательный падеж, двойственное число, несколько времен глагола; английский язык пережил экспансию служебных слов — система предлогов начисто вытеснила падежи. Все это прекрасно документировано и сомнений не вызывает. Другое дело — доисторическое состояние языка. О нем мы можем судить лишь на основании известных законов его развития, как бы продлевая их действие в прошлое.

— А ты считаешь, что этого делать нельзя?

— Нет, не считаю, но я за то, чтобы ученый точно фиксировал те моменты, где он говорит больше, чем позволяет материал, чтобы он оговаривал гипотетичность своих построений. Так, знаменитый компаративист А. Мейе пишет: «Индоевропейский тип представляет... тот тип, который называют „флективным“». Однако сквозь индоевропейский тип, столь законченно флективный, можно обнаружить существование более раннего типа с мало или вовсе не изменяющимися формами, остатками которого являются первые части сложных слов, формы именительного — винительного падежа среднего рода, некоторые формы именительного падежа одушевленного рода, личные местоимения, числительные от „5“ до „10“. Кроме глаголов и имен, составляющих два класса изменяемых слов, в индоевропейском есть слова неизменяемые, из которых некоторые представляют собою застывшие формы первоначально изменявшихся форм, но часть которых, по видимому, состоит из форм, никогда не знавших словоизменений⁹. Прямых свидетельств о «более раннем типе» у нас нет, а Мейе указывает на него как на безусловную реальность.

А самый влиятельный лингвист второй половины XIX века, А. Шлейхер, столь же уверенно говорит о двух периодах развития языка — доисторическом (когда

язык развивался как звуковое выражение мышления) и историческом (когда происходит «разложение языка в звуке и форме»). Шлейхер считает, что «по всему вероятию, не все организмы, находившиеся на пути к очеловечению, дошли до образования языка. Одна часть отстала по развитию, не вошла во второй наш период развития и подверглась регрессивному прогрессу и ...постепенной гибели. Остатки этих оставшихся без языка, вырождающихся, не дошедших до очеловечения существ, представляют из себя антропоиды¹⁰. В исторические же времена языки только вырождаются».

Авторитет Шлейхера был настолько велик, что его мнение сделалось почти господствующим. Однако и несогласные все же были. Если мы — возражал, например, Р. Гутман — переживаем непрерывную деградацию языка, то «человечеству в скором будущем угрожает регрессивное приближение к антропоидам¹¹. Вот какие выводы можно сделать в рамках строгой науки».

Шлейхер ввел понятие о индоевропейском праязыке — родоначальнике огромной семьи языков, включающей санскрит, латинский, греческий, готский, армянский, албанский, славянские и др. (Сам Шлейхер так уверовал в этот язык, что даже написал на нем басню «Овцы и кони».)

Круг языков, составляющих эту семью, определил еще Ф. Бопп, но потребовались огромные усилия, чтобы представить себе типы родственных связей, отличительные черты отдельных ветвей языков и т. д.

Чтобы вы могли ощутить все трудности, которые нужно было преодолевать лингвистам в процессе воссоздания праязыков, я скажу несколько слов о формировании английского языка.

Сравнительное языкознание выделяет следующие моменты его истории: индоевропейский праязык... германский праязык... западно-германский праязык... англо-фризский праязык... английский язык¹². К тому же, учтите, есть и переходные формы! И каждый из этих языков нужно описать, изучить, как он развивался, как менялись его словарь, грамматические формы, произношение. И все это практически при отсутствии письменных памятников!

Но и «английский язык» в данном случае — не то, чему пытаются учить в школе, а название для совокупности трех языков — древнеанглийского, среднеанглийского и новоанглийского. А из них только среднеанглийский составлен из пяти диалектов (причем здесь в ходу еще французский и латынь, которые с ними взаимодействуют).

Таким образом, восстановление этапов истории языка потребовало от лингвистов огромных усилий — они погрузились в реконструкции праформ, в поиски фонетических закономерностей, в тонкости ударных и безударных слогов, придыхательных звуков и т. д. и т. п. И чем больше языковедение занимается всем этим, тем дальше на периферию оттесняется проблема происхождения языка. Становится все яснее, что собственными средствами языковеды решать ее не смогут. Соответствующее умонастроение выразили создатели программ лингвистических обществ, возникавших в середине прошлого века. В 1866 г. Парижское лингвистическое общество внесло в свой устав пункт, который, в частности, гласил, что Общество не принимает для рассмотрения работ о происхождении языка. В 1873 г. президент Лондонского филологического общества А. Эллис писал: «Я считаю, что подобные вопросы не относятся к собственно филологическим. Мы должны изучать то, что есть, мы должны открывать, если возможно, неизменные безусловные отношения, в которых язык, как мы видим его, формируется, развивается, меняется, или по крайней мере выводить эмпирические положения об определенных языковых отношениях и определять, насколько эти положения применимы в отдельных случаях»¹³.

И мало-помалу проблема происхождения языка ушла из лингвистики, хотя многие крупные языковеды второй половины XIX и начала XX века так или иначе к ней обращались.

У родника первотворчества

Злой дух породил царство тьмы и беззакония,— отсюда возникло множество языков.

И. С. Орлов

— Противоречия компаративистики середины XIX века своеобразно проявились у младограмматиков. Беру в свидетели Г. Пауля, чью книгу «Принципы истории языка» называют иногда «катехизисом младограмматизма».

Вопрос о происхождении языка «можно считать удовлетворительно решенным, если нам удастся вывести происхождение языка из действий тех только факторов, действие которых мы и теперь еще наблюдаем»¹⁴. Словом, предполагается, что на протяжении всей своей истории язык развивался по одним и тем же законам и, раз они известны, мы можем эту историю воспроизвести полностью. Вместе с тем Пауль утверждает, что язык переживает особый период — период *первотворчества*. В этот период происходит формирование слов, а потом уже звуки эволюционируют по своим правилам, а значения — по своим. Но тут заметно противоречие с провозглашенным им же принципом, ведь первотворчество невыводимо из законов жизни современных языков.

Это противоречие можно разрешить одним-единственным способом: в современных нам языках обнаружить элементы первотворчества. Разговоры о ныне утраченной способности первобытного человека к созданию языка Пауль предлагает прекратить. Сейчас способность человека к формированию языка не меньше, а даже больше, чем тогда. Просто наши языки уже очень развиты и не требуют языктворчества. Но если провести еще один «царский эксперимент», дети, несомненно, придумают свой язык. И тут Пауль ссылается (хотя и с оговоркой) на одного очевидца, который писал, что в разбросанных далеко друг от друга селениях Южной Африки дети туземцев, предоставленные самим себе на время длительных отлучек родителей, выдумывают свой язык.

Вот какую трансформацию претерпела идея царского эксперимента: дети должны просто заговорить, хотя бы и не на «древнейшем» и не на «лучшем» языке.

Но первотворчество продолжается и в нынешних европейских языках. Надо только увидеть его — и загадка появления языка будет разгадана.

Еще раньше В. фон Гумбольдт утверждал, что язык — понимаемый им как творческая деятельность — рождается постоянно, в каждом речевом акте. Но уловить сам момент творчества чрезвычайно трудно. Однако такую попытку предпринял наш замечательный филолог А. А. Потебня. Он обратился к мифопоэтическому творчеству, рассуждая, что если уж можно исследовать зарождение мифа и народно-поэтического произведения, то можно изучать и происхождение языка¹⁵. Но разработать процедуры исследования, т. е. довести идею Гумбольдта до строго научного уровня, Потебне не удалось, и он углубился в тонкости народной поэзии.

Выясняя, за счет чего пополняется словарный состав немецкого языка, Пауль находит более сотни слов, родившихся уже в позднем средневерхненемецком: Klacks, Klecks, Klatch... («хлоп-шлеп», «клякса», «лужица»)¹⁶. Родственных им нет в других индоевропейских языках. Следовательно, рассуждает Пауль, эти слова возникли как инстинктивные реакции человека на соответствующие явления и в силу природного сходства с ними легко подхватывались и распространялись.

Но понятно, что обнаруженные в письменных памятниках новые словечки отлиты по старым грамматическим моделям. Следовательно, для первоначального языка такой способ формирования словаря непригоден. Первоначальный язык для Пауля — масса неупорядоченных звуков. И тогда Пауль вовсе отрывается от современных языков и предполагает, что была еще более ранняя стадия — язык жестов (непроизвольных инстинктивных движений). Какие же законы переносятся в прошлое в этом случае?!

Еще один аргумент Пауля — язык детей. Двухлетняя девочка говорит tata вместо Martha, tate вместо Tante, ottotte вместо Onkel Otto, tetz вместо Cakes и пр.¹⁷ Эти примеры, по его мнению, позволяют понять организацию звукового и смыслового материала в древних языках, в частности только что приведенные факты неполного удвоения основы.

Понятно, речь не может идти о прямом перенесении в прошлое образцов детской речи. Как сказал О. Есперсен, проводить здесь аналогию — это то же самое, что изучать историю музыки, глядя, как ребенок учится играть на пианино. Так, дети во всех странах пытаются вместо «к» сказать «т», а вместо «г» — «д». Значит ли это, что заднеязычные звуки «к» и «г» появились в языке позже, чем переднеязычные «т» и «д»? (Может быть, да, а может быть, и нет: убедительных данных мы не имеем. В индоевропейском праязыке заднеязычных было куда больше, чем в современных языках, но он далеко не *первый* язык человечества.) Еще пример. Освоение английскими детшками слова please проходит такие стадии: бли — блии — пииз — пвииз — пливиз. Пойдем ли мы на этом примере, как в языках более сложные звучания формировались из более простых?

И наконец, Пауль так широко понимает язык, что и животные оказываются в классе говорящих. В его представлении, животные могут обмениваться отдельными словами. А человек превосходит их лишь с того момента, когда начинает сочетать слова в предложения. Но проблема сравнения языка и «языков» животных — это уже совсем не лингвистика. Ведь чтобы их сопоставлять, нужно одновременно держать в поле зрения как язык, так и сигналы животных.

В конце концов и проблема первотворчества — довольно куцый остаток того, что еще в начале XIX века называли проблемой происхождения языка — постепенно уходит из лингвистики. Становится очевидным, что индоевропейский праязык — не первобытный, что он не «первобытнее» египетского языка периода пирамид и, даже воссоздав его, мы не продвинемся к истокам первоначального языка.

По бегущим волнам языков

Падшее человечество, утратив первобытное и стремясь к новому, высшему единству, пошло блуждать разными путями.

К. Аксаков

— Но ситуация оказывается еще сложнее: во второй половине XIX века многие ученые выдвигают серьезные аргументы в пользу того, что и сам индоевро-

пейский праязык восстановить нельзя. Восстанавливаемые формы и звучания — это не более чем искусственные конструкции, построенные из известных соответствий. А утверждать, что эти конструкции были когда-то формами реального языка, по крайней мере неосторожно. Таково, в частности мнение А. Мейе, писавшего, что «...положительными фактами являются только соответствия, а „восстановления“ сводятся лишь к знакам, с помощью которых сокращенно выражаются соответствия»¹⁸, и, следовательно, «сравнительная грамматика индоевропейских языков не бросает ни малейшего света на первые ступени языка»¹⁹.

Справедливости ради нужно сказать, что некоторые представители сравнительно-исторического направления и поныне считают восстановление праязыков вполне реальным делом. Но в таком случае перед нами откроется путь если не к самой ранней, то к очень ранней стадии развития языка. Действительно, все согласны в том, что в индоевропейском праязыке существовали диалекты, и вполне возможно, что люди, говорившие на разных диалектах, друг друга не понимали.

— Но если эти диалекты произошли от одного языка, то, восстановив диалекты, мы придем и к праязыку, не так ли?

— Да, если эти диалекты возникли в результате распада единого языка. Но может быть, что они — следствие иных причин.

— Каких, например?

— Скажу чуть позже, а пока — следующее. Считается, что сходство слов в разных языках — свидетельство их происхождения от одного древнего языка. К примеру, во французском, итальянском, латинском и румынском слово «цветок» звучит примерно как «флёр», «фйоре», «флур», «флоаре», а «узел» — как «н», «нодо», «нуф», «нод». В латинском, от которого произошли эти языки, соответствующие слова звучали как «флорем» и «нодум». Значит, все верно: языки всегда распадаются на диалекты, которые позже становятся самостоятельными языками.

Убежденные в этом, компаративисты рисуют родословное древо языков. Сначала некий народ говорит на некоем языке. Этот язык постепенно обогащается новыми словами и связями. Но вот народ по тем или

ными причинам разделился на отдельные группы, сообщества. Развитие языка продолжается, однако все новое замыкается в группе. И если этого обособленного нового становится много, рождается диалект, а затем и новый язык.

Если думать, что так только все и было, то придется признать моногенез языков — происхождение всех их от одного. Признав это, можно искать предка каждой семьи языков — индоевропейской, семито-хамитской, дравидийской и других; установив сходство языков-предков, можно дерзать и на восстановление предка этих предков — самого первого языка.

Вера в воссоздание праязыков была столь велика, что ученые надеялись даже воскресить реалии, стоявшие за ними. Поэтому возникла так называемая «лингвистическая палеонтология» — наука, имевшая целью воспроизвести на основе праязыков духовную и материальную жизнь говоривших на них народов.

Именно в духе лингвистической палеонтологии разговор об истории русского языка академик А. А. Шахматов начинает с рассуждений об индоевропейском праязыке и прародине индоевропейцев, о распаде индоевропейской семьи, о прародине славянских племен. Проанализировав словари многих языков, Шахматов приходит к заключению, что прародина индоевропейцев находилась в Средней Европе — где-то в районе Южной Германии и Западной Австрии, а первой родиной славян было Балтийское побережье, точнее — нижнее течение Немана и Западной Двины²⁰. Способ его рассуждений таков: «...в славянской прародине росли дерево *тис* и вьющееся растение *плющ*. Это видно из того, что *тис*... является общеславянским словом и также общеславянскими оказываются слова *блющ*, *плющ*, равно и *брьшлян*, *брьштан* в том же значении»²¹. Если установим, где именно росли *тис* и *плющ*, у нас будет ключик к одной из тайн прошлого славянских народов или же, по крайней мере, из областей, где могла быть прародина славян, можно будет исключить те края, в которых *тис* и *плющ* не растут.

Пользуясь тем же методом, крупнейший американский лингвист XIX века У. Уитни описал образ жизни говоривших на индоевропейском праязыке: «Первобытное племя, говорившее на материнском языке, от

которого произошла вся семья индоевропейских языков, вело не исключительно кочевую жизнь, но имело также оседлые поселения, даже города и укрепления, и занималось частью разведением скота, частью возделыванием земли. У этого племени были уже важнейшие из наших домашних животных: лошадь, бык, коза, свинья, не считая собаки, так как медведь и волк опустошали его стада; мыши и мухи уже и тогда были домашними бичами. Для еды сеяли ячмень, а может быть, и пшеницу, и стряпали из них кушанье. Из меду приготавливали веселящий и опьяняющий напиток. Употребление некоторых металлов уже было известно, но нельзя сказать наверное, принадлежало ли к числу их железо. Ткать уже умели, пользуясь для этого шерстью, пенькой, а может быть, и льном... Наступательное и оборонительное оружие было такое же, какое обыкновенно распространено между первобытными племенами: меч, копье, лук и щит. Лодки умели делать и приводить в движение веслами... Счисление было известно, по крайней мере, до сотни, так как нет общего индоевропейского слова для обозначения тысячи. Некоторые звезды были замечены и получили названия; луна служила главным мерилем времени. Религия была политеистическая и состояла в обожествлении сил природы»²². Видите, какие полотна можно писать, располагая только словарями. Не нужно ничего раскапывать, все записано в «долговечном царственном слове».

— Не очень понятна твоя провия. Не хочешь ли ты сказать, что все это неверно?

— Верно, если принять, что языки образуются только в результате распада праязыков и что по языку можно судить о жизни тех, кто на нем говорил.

— И какой из этих тезисов ты считаешь неверным? Видимо, первый, если вспомнить твою ссылку на Мейе?

— Да, Мейе был прав, и вот почему. Вскоре выяснилось, что без дополнительных, лингвистических, данных реконструкция языка, а тем более культуры практически невозможна. Это подрывало авторитет лингвистической палеонтологии. Да и сами языковые явления надежно не восстанавливаются. Так, если обратиться к романским языкам, то, например, по всем правилам восстановления, ряд «к — кода — куа — коа-

дэ» (слова, обозначающие хвост) даст «коодам». Однако в латинском языке такого слова не было, а было другое — «каудам»²³. А сколько ошибок может накопиться на пути к более древним языкам! Не поможет и остроумная идея Э. А. Макаева, что так мы реконструируем не живой, народный язык, всегда существующий как сумма многих говоров, а литературный, единый в более или менее обширном регионе²⁴.

— Но ведь процедуры можно усовершенствовать.

— Они и совершенствуются. Однако выяснилось также, что расщепление языков не только не единственный, но, видимо, и не самый важный процесс. Сходство языков могло быть и результатом длительного сосуществования народов. Так, общение европейцев с народами Юго-Восточной Азии породило «пиджин инглиш» — смесь китайской грамматики и английского словаря, отдаленно напоминающую чириканье. Но пиджин инглиш даже преподается в школах. Если предположить, что через пару тысяч лет ученые найдут неизвестные тексты на пиджин инглиш, не исключено, что они сочтут его предком индоевропейских и сино-тибетских языков. Возможно, что и сходство вьетнамского и китайского языков, которое компаративисты объясняют общим их происхождением, возникло вследствие длительного исторического общения этих народов, говоривших когда-то на совершенно различных языках. Такое явление называется скрещиванием.

— Сейчас скажешь, что скрещивание языков — не менее важный процесс, чем их распад.

— Угадал! Вполне допустимо считать, что сходство языков — это результат долгой совместной жизни народов. И, допуская скрещивание языков, мы тем самым отбрасываем идею моногенеза. Да она и не срабатывает в отношении индоевропейской семьи, не говоря уже о том, что было раньше. Недаром же испанский лингвист А. Товар считает, что даже классический пример распада — образование романских языков из латыни — не более чем миф. Схема родословного древа «может быть полезна в лучшем случае начинающим и только для памяти, но она отражает сложную реальность так же мало, как индоевропейское дерево»²⁵.

— Выходит, новые языки — не итог почкования, а плод брачного союза?

— И некоторые лингвисты тоже это поняли. Осознав, что языковой материал не укладывается в схему родословного древа, ученик и последователь Шлейхера выдающийся ученый И. Шмидт стал искать иные объяснения. Он установил, что число сходных черт в любых двух языках прямо зависит от степени их географической близости. На этом Шмидт и построил свою теорию — теорию волн.

Согласно его теории, индоевропейское единство — это непрерывный ряд плавно переходящих друг в друга языков, причем каждый имеет сходство с соседними языками. Новые слова, звуки и формы, возникнув в разных районах, могут, подобно волнам, распространяться во все стороны. Поэтому между языками не должно быть резких границ. То, что они все-таки есть, Шмидт объясняет тем, что по разным причинам в соседстве оказываются непохожие языковые явления.

Волновая теория многим казалась бесплодной, но именно ее положил в основу своей схемы эволюции языков Земли американский лингвист М. Сводеш. В незаконченной книге «Происхождение и распространение языка» он утверждает, что увидеть зарю языка с наших вершин мы не можем. В лучшем случае заглянем в глубь истории на 25 тысяч лет. Примерно к этому времени по Земле уже прокатились волны языковых соответствий, разделившие предков современных языковых семей²⁶.

— По-моему, Сводеш непоследователен.

— У тебя острый глаз! Действительно, Сводеш не может полностью отказаться от образа древа, но для объяснения более ранних стадий развития языка он предпочитает образ волн.

Историю языков Сводеш представляет себе так. Началась она в краях, где жил народ, говоривший на языке, лучше всего сохранившемся у современных басков. Это примерно нынешние Средняя Азия и Сибирь. На юг от них пошла волна австралийских языков, которая, в свою очередь, возбудила волну кхмеро-гасманийских языков. На запад хлынула индоевропейская волна, последовательно вызвавшая волну семито-хамитских языков, языков банту и др. На восток побежала волна языков майя, от нее — араваканская и т. д.



Мне трудно оценить эту схему. Отмечу лишь, что она почти ничего не говорит о времени происхождения языка. По ней можно судить лишь о предыстории современных языков. И ясно, что ею дается полигенез языков, поэтому Сводешу и понадобилась теория волн. Кроме того, он уверен, что языки должны проходить три стадии развития: локальную (когда существует огромное количество изолированных языков), классическую (когда языки смешиваются в пределах империй) и мировую (когда все языки вступают в контакт друг с другом).

— Да, а как это мы проникнем в такую глубь времен — 25 тысяч лет?

— Во-первых, я и сам это плохо представляю себе. Во-вторых, Сводеш не настаивает на детальном восстановлении прошлого. И в-третьих, у него есть еще интересная гипотеза. Смысл ее в том, что процент сохранения основного словарного состава постоянен. Если взять, скажем, сто самых обиходных слов: «мать», «небо», «человек», «идти»... и выяснить, сколько из них сохранится за тысячу лет, то, по расчетам Сводеша, получится 84 процента. Исходя из этого, он и рассчитывал время начала распадаения какого-либо языка. Но этот метод не позволяет проследить сам ход эволюции языков.

— Значит, подробностей о ранних стадиях существования языка мы от Сводеша не узнаем?

— В том-то и дело. Мы можем говорить лишь о некоторых принципах эволюции языка.

— А нельзя ли вернуться к тому, как современное языкознание относится к идее упадка языков? Ведь она основана на реальных фактах. А если ее признать, то придется признать, что период первотворчества сменяется периодом упадка.

— Мне кажется, что современные лингвисты стараются не обсуждать такие глобальные вопросы, видимо считая их схоластическими. А ведь вовсе не обязательно предполагать упадок языков. Выяснилось, например, что китайский язык — это не образец «древнейшего типа» языков.

Слова в китайском языке когда-то различались с помощью окончаний, т. е. он был флективным языком. Слова не были односложными и произносились иначе, чем простые слоги. Постепенно окончания исчезли, оставив по себе

память в виде различных тонов, которыми так богат современный китайский язык. Э. Кун доказал, что раньше в нем и структура предложения была не столь жесткой, как сейчас. Кроме того, к настоящему времени этот язык накопил много относительно самостоятельных грамматических элементов и поэтому не может считаться состоящим из одних корней.

Следовательно, гипотеза о праязыке, состоявшем из односложных корней-слов, основанная на материале китайского языка, ложна. Ведь именно уверенность, что китайский язык сохранил изначальную структуру, позволяла еще Аделунгу, а потом Гримму и Шлейхеру рисовать картины эволюции языка. Выяснилось также, что флективные языки — это не вершина развития, что показал, в частности, наш гениальный лингвист Н. С. Трубецкой²⁷.

Против тезиса о неизбежности упадка языков выступили многие лингвисты. О. Есперсен, например, считает, что новые языки превосходят древние по крайней мере по семи позициям: (1) формы в общем стали короче; (2) их меньше, следовательно, меньше нагрузки на память; (3) образование форм стало более регулярным; (4) более упорядочен синтаксис; (5) современные языки более аналитичны и абстрактны, что облегчает комбинирование отдельных единиц языка; (6) стали излишними грубые повторения, известные под именем согласования (например, в словосочетании «красивАЯ розА» окончания «-ая» и «-а» дублируют друг друга, обозначая женский род, единственное число, именительный падеж. Для общения вполне достаточно чего-либо одного); (7) четкий порядок слов облегчает понимание. Все это он выявил, в частности, при сравнении древнегреческого с новогреческим, древнеегипетского с коптским, древнеперсидского с современным иранским, санскрита с хинди или урду²⁸.

Есперсен предложил свой способ реконструкции праязыка, перенося в прошлое выявленные закономерности. Древнейший предок наших языков видится ему таким: звуки его сплетались в длинные сочетания, которые как бы выпевались (это значит, что поэзия древнее прозы); многие звуки были сами по себе очень сложными — некоторые произносились на вдохе (находясь в середине слова); язык изобилует гортанными, придыхательными звуками. Кстати, есть одно любопытное подтверждение правоты Есперсена. Профессор А. П. Поцелуевский исследовал звуки, с по-

мощью которых гоклены и текинцы общаются с животными. Он исходил из того, что эти звуки мало изменились за прошедшие века. Одним из итогов его исследования явилось представление о «слово-монолите» — сложном звуковом комплексе, неразложимом на отдельные звуки. Причем слово-монолит включало гортанные, щелкающие звуки и некоторые другие, уже исчезнувшие из обычной речи²⁹. И уж если мы заговорили о звуковом составе первоначального языка, сошлюсь еще и на ван Гиннекена, который, учтя опыт изучения кавказских языков и языков готтентотов³⁰, пришел к выводу, что речь древних людей складывалась только из согласных звуков. Словом, Аделунг и ван Гиннекен оказались своего рода антиподами: один считал первый язык состоящим только из гласных, другой — только из согласных.

Но вернемся к Есперсену. Важнейшей особенностью грамматики праязыка он считает синтетичность. Слова — одновременно и существительные, и наречия, и глаголы, — их грамматическое значение выяснялось только в речи. Для языка были характерны нерегулярность грамматических отношений и неопределенность значений отдельных слов. Поэтому «эволюция языка демонстрирует прогрессивную тенденцию движения от нерегулярных образований к регулярным и свободным сочетаниям элементов»³¹. Язык становится все более абстрактным. Если, например, сравнить современный английский с языком чероки, то мы увидим следующее. Английскому wash в чероки соответствуют: kutuwo (я моюсь), kulestula (я мою голову), tsestula (я мою чужую голову), kukuswo (я мою лицо), tsekuswo (я мою чужое лицо), takasula (я мою руки или ноги), takunkela (я стираю белье), takutega (я мою посуду), tsejuwu (я мою ребенка), kowela (я мою мясо)³². Кроме того, названия предметов меняются в зависимости от того, говорят ли о них в быту или во время ритуального действия, женщины или мужчины и т. п. Даже числительные зависят от того, что считают — нарты или оленей.

Язык начинался не со слов, а с предложений. (Может быть, первым из лингвистов эту мысль высказал У. Уитни.) Но, конечно, эти предложения были непохожи на наши, и перевести их на современные языки — это примерно то же самое, что переводить

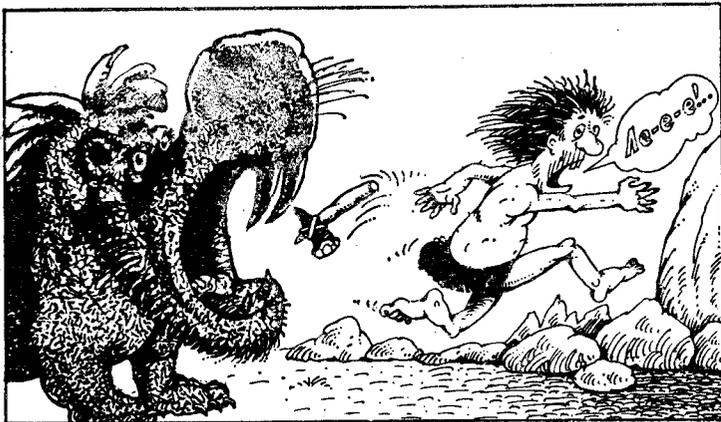
междометия. Мы можем, конечно, перевести девичье «Ой!» как «Я очень испугалась!». Но ведь в междометии, так сказать, слиты подлежащее и сказуемое, грамматика и морфология. А переводя междометие, мы все это ему припишем. И значит, наш перевод будет неточен. С таким же успехом можно переводить рычание льва или мимику шимпанзе.

Состав изначального предложения обычно вызывает споры. Одни лингвисты — под воздействием «тысячелетнего господства логики над грамматикой» — доказывали, что «предложение есть суждение; последнее двучленно, а значит, двучленно и первое»³³. Другие, например Г. Шухардт, апеллируя к детской речи и истории языка, утверждали, что изначальное предложение могло быть только одночленным: оно было звуком, обозначавшим не вещи, а процессы, происходящие с вещами. Правда, надо сказать, что в отличие от Уитни и Есперсена Шухардт настаивает, что язык начинался со слов (хотя и выполнявших функцию предложений), поэтому двучленные предложения возникают как объединения отдельных, уже хорошо оформленных слов-предложений.

И последний штрих: по Есперсену, язык рождался не из прозы жизни, а из ее поэзии; матерью языка была не мрачная серьезность, а искрометное юношеское веселье.

— Ну что ж. Кажется, ты дал нам возможность разглядеть некоторые существенные детали в тумане прошлого, хотя и напустил нового тумана.

— Я старался, как мог. И все же разговор о достижениях лингвистики я хочу закончить скептической нотой: идя от письменных памятников, к истокам языка не выйти: письму всего пять тысяч лет, а других прямых свидетельств о языке у нас нет. И, как едко заметил Н. Хомский, судить о началах языка по закономерностям его эволюции за последние тысячи лет — это почти то же, что судить о Пунических войнах по событиям последней недели.



Глава третья

Сквозь фауну

(Рассказ биолога)

Собака не может рассказать свою автобиографию; как бы она ни лаяла, она не может сообщить вам, что ее родители были хотя и бедными, но честными собаками.

Б. Рассел

Я так же уверен, что у попугая есть знания, как знаю, что они есть у иностранца: те же признаки, которые свидетельствуют об этом у первого, существуют и у второго: нужно иметь меньше здравого смысла, чем животные, чтобы отказывать им в знаниях.

Лами

— Начну, как говорится, с истории вопроса.

Известно, что животные общаются с помощью звуков, запахов, поз, прикосновений, мимики. Люди давно это заметили и не сомневались, что у животных есть свой язык. Поэтому и мифический, сказочный мир любого народа населен говорящими зверями и птицами. Многие античные авторы тоже считали, что язык есть и у животных. Но другие, как, например, Аристотель, настаивали на том, что язык присущ только «политическим животным» — людям,

Мы уже говорили, что «язык» для античных мыслителей — это чисто телесное свойство человека, который отличается от других существ только *количественно* (т. е. степенью развития некоторых общих всем животным способностей), но не *качественно*, (т. е. свойствами, которые никому больше не даны). Так, Анаксагор, Эпикур, Гален, Лукреций полагали, что человек лишь мудрейшее из животных, которые тоже не без ума. Но Аристотель, Диоген, Хрисипп, Посидоний были непоколебимы в ином мнении: разумен и владеет речью только человек. Причем спорящие не церемонились друг с другом — сошлось хотя бы на Плутарха: «Те, у кого хватает глупости и дерзости утверждать, что животным не знакомы ни радость, ни злоба, ни страх; что ласточка не собирает запасов, а пчела не одарена памятью; что это только кажется, будто ласточка обнаруживает предусмотрительность, лев злобу, самка оленя страх, — не могли бы ничего возразить, если бы им сказали, что в таком случае у зверей нет ни зрения, ни слуха, ни голоса, а это только так кажется, будто они видят, слышат и издают звуки; что они, собственно говоря, даже не живут, а только кажутся, будто они живут. Потому что второе ничуть не больше противоречит очевидности, чем первое»¹.

— Кстати сказать, в Древнем Риме к животным относились не так, как мы. Они юридически приравнивались к людям. Их могли привлекать к ответственности и наказывать по приговору суда², — значит, подразумевалось, что они действуют *сознательно*. И подобные судебные процессы случались в Европе вплоть до Нового времени.

— Эпикурейцы тоже верили, что у животных есть разум и язык. В знаменитой поэме Лукреция сказано:

Что же тут странного в том... если род человек, Голосом и языком одаренный, означил предметы Разными звуками все, по различным своим ощущениям? Ведь и немые скоты и даже все дикие звери Не одинаковый крик испускают, а разные звуки, Если охвачены страхом или чувствуют боль или радость... Стало быть, коль заставляют различные чувства животных Даже при их немоте испускать разнородные звуки, Сколь же естественней то, что могли первобытные люди Каждую вещь означать при помощи звуков различных!³

Соответствующее умонастроение породило у античных философов мысль, что все в природе — элементы единого ряда. Для Аристотеля, а затем и для неоплатоников космос — это непрерывная цепь существ все возрастающего совершенства. Человек в ней — лишь звено между неразумными животными и разумными, но бесплотными духами — ангелами, демонами и пр. Броне обладающий разумом и плотью человек и отделен от остальной фауны, но сам образ цепи, лестницы не допускает принципиального разрыва. Прибавьте к этому веру в переселение душ — метемпсихоз, которую Пифагор перенял у египетских жрецов. Как известно, в Греции был популярен анекдот, что Пифагор в лае собаки узнал голос умершего друга.

— Но ты же сказал, что Аристотель резко отделил человека от животных?

— И тем не менее идея *лестницы существ* восходит именно к нему. Даже в своем учении о душе Аристотель говорит о *плавных* переходах между ее частями — растительной, животной и разумной. У растений только растительная душа, у животных — наполовину растительная, наполовину животная, а у человека — еще и разумная. Животные, по Аристотелю, могут с помощью речи сообщать что-то друг другу, но их речь не требует разума и не может выражать отношение к добру и злу. Позднее христианские богословы, рассуждая о предназначенной к спасению человеческой душе, имели в виду только разумную часть ее.

Та же двойственность — человек уникален и человек лишь одно из звеньев в цепи живых существ — отражена и в оде Державина «Бог»:

Частица целой я вселенной,
Поставлен, мнится мне, в почтенной
Средине естества я той,
Где кончил тварей ты телесных,
Где начал ты духов небесных
И цепь существ связал всех мной.
Я связь миров, повсюду сущих,
Я крайня степень вещества;
Я средоточие живущих,
Черта начальна божества;
Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб, я червь — я бог!

— В Новое время Декарт категорически выделил человека из фауны, объявив животных бездушными

машинами, искусно созданными природой. (Лишь человек наделен душой, которая обитает в «шишковидной железе».) И поскольку язык — выражение разумной души, он у животных отсутствует.

Если верить Л. Бюхнеру, сходные взгляды чуть раньше развивал испанский врач Гомен Перейра, который «впервые заявил, что звери не обладают ни чувствами, ни мыслительными способностями, что это бездушные машины, деятельность которых определяется внешними условиями»⁴.

Возражая Декарту, Лейбниц как бы возвращается к Аристотелю. Центральное место в его философии занимают монады — своеобразные точечные души. Эти души крошечными, почти незаметными шажками движутся от неживого к живому и разумному.

Но в защиту униженных Декартом животных стало и чувство любви к ним. Оно вдохновило иезуита Бужана на книгу «Философские забавы по поводу языка животных», в которой, между прочим, можно прочесть и следующее: «Картезианцы всего света не смогут убедить меня, что собака — машина. Представьте себе человека, который любил бы свои часы так же, как любит собаку, и ласкал бы их, думая, что они сознательно и из любви к нему показывают ему время. Если бы Декарт был прав, все люди, которые думают, что их собаки привязаны к ним, любят их, оказались бы такими же точно глупцами»⁵. Но при всем при том — колоритная деталь! — разумность зверей Бужан объясняет кознями дьявола.

Двойственность отношения к разуму и языку животных прослеживается и дальше. Правда, если до второй половины XIX века оба воззрения могли мирно уживаться в сочинениях одного автора, то с развитием науки позиции ученых становятся более строгими.

Уже упомянутый анонимный немецкий автор XVIII века сначала пишет об универсальности языка: «Во всех тварях, жизнью, чувствием и памятью одаренных, находим мы известный, но нами неизвестный язык. Пресмыкающийся уж шипит по своей самке. Крылатой петух ласкает свою курицу. Голубка воркует по голубе. Четвероногия животныя дают нам и друг другу различным голосом о своих желаньях знать». Но чуть дальше делает характерную оговорку:

«Сколько бы ни описывали по Философски общество пчелино и муравьево; однако навсегда останется их экономия больше механической, нежели от разума зависящею»⁶.

В конце же XIX века страстный дарвинист оксфордский профессор Д. Романэс вполне последовательно выводит язык человека из криков животных: «Подобно попугаю, ребенок путем непосредственной ассоциации выучивается понимать некоторые слова или звуки как обозначение известных предметов, указание на известные качества, выражение известных желаний, действий и т. д. Единственное различие то, что в ребенке эта способность через несколько месяцев после своего первоначального проявления развивается в размерах, которые далеко превосходят предел ее развития в птице, так что словарь ребенка становится гораздо богаче и точнее»⁷.

А в XX веке психологи П. Линдсей и Д. Норман, понимая язык, в противоположность Романэсу, не как совокупность слов, а как систему, утверждают: «Способность к речи является, вероятно, важнейшей, и притом уникальной, особенностью человеческого сознания. Языковые системы столь сложны, что до сих пор никому еще не удалось дать полное описание правил, составляющих эти системы»⁸. Но в настоящее время эти подходы превратились в две разные научные традиции.

Научное исследование проблемы языка животных начал Чарльз Дарвин. Он подчеркнул сходство эмоций у человека и животных в «Происхождении человека» и в других своих книгах. Именно выражения эмоций Дарвин считал первыми словами языка.

— Что значит «научное»?

— С помощью методов конкретных наук, т. е. когда мнения начинают обосновывать наглядными фактами.

— А как было раньше?

— Раньше это делалось от случая к случаю. Аристотель, а за ним Плиний Старший пишут, что *человекообразные* обезьяны подобны человеку (что, собственно, и отражено в русском их названии). Но для них это просто общий тезис. Зато великий врач древности Гален относился к этому сходству прагматически. Он рекомендовал своим ученикам вскрывать обезьян и изучать по ним строение человеческого тела.

Словом, уже в античности обезьяны расплачивались за свое сходство с человеком.

В 1543 г. Везалий в своем труде «О строении человеческого тела» показал, что Гален, описывая анатомию человека, допустил около 200 ошибок, и как раз потому, что изучал обезьян, а не людей⁹.

Я не знаю, как Линней относился к высшим обезьянам, но те их названия, которые уже существовали и которые он использовал в своей систематике, сейчас звучат почти ругательно: «пигмей», «луцифер», «сатир», «троглодит». И все потому, что на лестнице существ эти обезьяны неопозволительно близко стоят к венцу творения.

Надо сказать, что систематика обезьян долгое время была сильно запутана, хотя попытки внести в нее ясность предпринимались неоднократно, и особенно настойчиво в XVI—XVII веках. Причем многие ученые, вслед за Галеном, сравнивали как обезьян между собой, так и обезьян с человеком, в частности по способности говорить.

В 1699 г. британское Королевское общество издало книгу Э. Тайсона о «пигмее» (в изображении «пигмея», приведенном в ней, легко узнать юного шимпанзе). Детально сравнив пигмея и человека, Тайсон сделал вывод, что физически обезьяны обладают всем необходимым для речи и «не говорят только потому, что Господь не вдохнул в них этой способности»¹⁰.

Через 80 лет в трудах того же Королевского общества появилась статья, в которой один из основателей сравнительной анатомии П. Кемпер доказывал, что обезьяны не могут говорить из-за плохого устройства их голосового аппарата¹¹.

В конце XVIII века разгорелась дискуссия о месте человека в животном мире. Но спорят пока о физических признаках, а не о языке. И, насколько я знаю, только в середине XX века Дарлингтон высказал идею, что языковая способность — видовой признак человека. Но я затрудняюсь сказать, как к этой идее относятся современные систематики.

В это же время Монбоддо утверждает, что качественной границы между человеком и животными нет. Блюменбах возражает ему: мы не знаем людей — даже и самых диких племен — без языка, но все обезьяны, как бы ни близко стояли они к человеку анатомически, способны производить лишь малое число нечленораздельных звуков¹².

В конце XIX — начале XX века открываются новые факты, но они так же противоречивы, как и раньше. К. Жакомини в 1897 г. сообщает, что гортань шимпанзе ближе к человеческой, чем гортань любого из приматов. А нейрофизиологи Грюнбаум и Шеррингтон в 1903 г. заявили, что обнаружить речевой центр у шимпанзе им не удалось¹³.

— Позвольте философу одно замечание. Мне кажется, результаты таких исследований во многом зависят от установки — внутренней настроенности ученого. В известном смысле ученый видит то, что он хочет видеть. Можно впасть в сентиментальность и приписывать животным человеческие эмоции и намерения, а можно смотреть на животное как на машину и трактовать его поведение как инстинктивно-механическую последовательность элементарных поведенческих актов. Я не хочу сказать, что это делается намеренно: без какой-либо установки вообще нельзя ничего увидеть, — но там, где это возможно, следует отдавать себе отчет в собственной необъективности.

В одной старой книжке, посвященной уму (или, как тогда любили говорить, «смышлености») животных, укус блохи описан так: «Не обвиняйте в злодеянии бедную, нежную мать, если она нас укусит: к этому ее принудила необходимость. Природа предписала ей такой закон — она не может от него уклониться. Поверьте, блоха действует со всею осторожностью, внимательностью, со всеми приемами, пожалуй, насекомого-гастронома, но самого по себе ни жадного, ни злого. Насытившись, она поспешно бросает добычу, можно сказать, что ее мучат угрызения совести... Она оставляет, живая, бодрая, место своего преступления, припрыгивая и слегка щекоча своею ногою соседнее с ним пространство, как будто с целью заглушить и утишить чрез это небольшую боль, произведенную уколом»¹⁴. А теперь скажите, считает ли такой исследователь, что у животных есть язык?

— Почти наверняка считает, что есть.

— Вот он и заявляет: «Не обладая собственным языком, животные не могли бы воспитывать своих детенышей»¹⁵.

— Сами понимаете, что когда пишут об угрызениях совести блохи, это нельзя считать научным тек-

стом. Ведь прямо уподоблять животных людям, как известно, нельзя.

— Но обратите внимание, как тщательно описано поведение блохи. Автор ее ощущал и видел то, о чем он пишет. Но ощущал и видел *сочувственно*, заранее полагая, что животные руководствуются теми же мотивами, что и люди. Такова была его установка еще до начала исследования. Значит, ученый, настроенный *сочувственно*, обязательно обнаружит у животных, как минимум, элементы человеческого языка.

— Думаю, отчасти ты прав. Но лишь отчасти — потому что ни у кого, кроме животных, нельзя найти каких-то начал нашего языка, а если это так, то пропасти между языком человека и «языком» животных быть не может.

— Но если так рассуждать, то нет пропасти и между сине-зеленой водорослью — первым на земле растительным организмом — и человеком. А это неверно. В процессе эволюции возникают те свойства, которые кардинально отличают потомков от их предков на лестнице эволюции.

— Что же, не нужно искать здесь преемственности?

— Разумеется, нужно. Я ведь говорю только об установке. Если вы докажете, что человеческий язык возник как развитие обезьяньих сигналов, я с вами соглашусь.

— Принимаю твой тезис об установке ученого, потому что первый опыт *научного* изучения языка обезьян оказался весьма своеобразным. Я имею в виду работы Р. Гарнера. (Но, прежде чем перейти к их обсуждению, хотел бы заметить, что и во второй половине XIX века, не говоря уже о нашем столетии, даже многие биологи настаивали, что между языком человека и «языком» животных существует принципиальная разница. Так, Г. Карус писал: «У животных вообще, равно как и у птиц, нельзя допустить истинного понимания звуков речи или пения, к которому способен человек по своему самосознанию и способности к познанию мира»¹⁶.)

Первая встреча с обезьяной

Омерзительная смесь человеческих звуков и обезьяньих мыслей,— нет, нельзя было так унижать божественную речь, и обезьяна замолчала и молчит упорнее других животных.

И. Г. Гердер

— Сам Гарнер — и, видимо, справедливо — считал, что он первый строго описал язык обезьян, в частности язык капуцинов и шимпанзе. Но в более позднее время практически все писали, что основных выводов Гарнера принимать нельзя.

Установка его была предельно проста: обезьяны общаются так же, как и мы — нужно только найти ключ к их языку. Поэтому в его «строго научном» описании зсора двух обезьянок выглядит как размолвка двух людей: «...я видел, как Немо самым почтительнейшим образом извинялся перед другой обезьяной Додо за нечто, совершенное им... Однажды Немо сел на поджатые ноги и, взяв левой рукой кисть правой, произносил свою речь очень энергически, но почти-тельным тоном, причем выражение его лица не было бессмысленным, напротив, свидетельствовало о его понимании того, что он делал. Спустя несколько минут он внезапно останавливался и затем повторял то же самое два или три раза. Способ его произношения был очень внушительен, а поведение примирительное. Когда он совершенно окончил разговор, Додо, выслушавшая обращенное к ней извинение в полном молчании, дала звонкую пощечину своей правой рукой по левой щеке маленького преступника, на что последний отвечал тихим вскриком. Додо же повернулась и ушла от него»¹⁷.

Изучая речь обезьян, Гарнер обнаружил в ней слова, подобные человеческим. Работал он так. Записывал производимые обезьянами звуки на фонограф, затем находил в записанном повторяющиеся звукосочетания. Пытался соотнести их с тем, на что именно, как казалось ему, реагировала обезьяна. Воспроизводил эти звуки сам или с помощью фонографа и проверял, как это поняли обезьяны. Вносил уточнения. И так много раз.

Работая с капуцинами, он выделил — «с известной долей вероятия» — девять слов: «корм», «пить», «любовь», «тревога» и др. Неудивительно, что он пришел к еще более сильному выводу: «Мыслить — все равно что методически думать, и если верно, что человек не может думать без слов, то же самое должно сказать и по отношению к обезьянам»¹⁸.

Но Гарнеру не пришло в голову, что если у обезьян всего девять слов, то что же такое остальные звуки? Слова, к которым пока нет ключа и которые нужно выделять по иной методике? Или это варианты тех же слов? В любом случае жестко связывать звучания и значения нельзя. Он и сам сознает это, если говорит, что некоторые звуки так меняются, что могут иметь два или три смысла. Непонятно, правда, насколько эти смыслы различны. Может ли капуцинье слово «погода» обозначать еду или любовь — или только разную погоду.

В соответствии со своей установкой Гарнер не упускает случая подчеркнуть близость нашего языка к языку животных: «Есть человеческие племена, язык которых едва ли понятен им самим, если не сопровождается знаками». В таких языках нет и правил: «...у форм, занимающих низшие стадии человеческой жизни, грамматика не представляет собою серьезной области, а равно она отсутствует и у низших рас человека, где не существует каких-либо письменных знаков»¹⁹. На чем основаны эти выводы, непонятно. Едва ли не на сведениях грамматики к письменности.

После успешного изучения языка капуцинов Гарнер обратился к языку шимпанзе. Это не было случайностью: шимпанзе отличаются естественной шумливостью и производят много звуков (в отличие, например, от более молчаливых орангутанов и горилл). В работе 1896 г. Гарнер пишет, что у шимпанзе существует определенное число звуков, которые обозначают их естественные желания. В языке шимпанзе он насчитывает примерно 20 слов. Многие из них, правда, «смутны и неопределенны», но достаточно выразительны для общения обезьян. Работая по привычной методике, Гарнер выучил несколько слов шимпанзе и беседовал с ними.

Подводя итоги своего общения с приматами, он заявил, что узнал около сотни обезьяньих слов и что

«звук, произносимый этими человекообразными обезьянами, обладают всеми характеристиками истинной речи. Говорящий осознает значение произносимого звука и использует его для передачи определенной идеи адресату. Звук всегда кому-то адресован, и говорящий обычно смотрит на него. Он регулирует высоту и интенсивность голоса в зависимости от условий. Он понимает ценность произносимого звука как средства мышления. Эти и многие другие факты указывают на то, что это истинная речь»²⁰.

Выводы Гарнера были сразу же раскритикованы приматологами. Дж. Гладден, наблюдавший тех же самых шимпанзе, что и Гарнер, подчеркнул, что они неспособны намеренно использовать определенные звуки для выражения определенных идей²¹. Значит, нельзя говорить, что у них есть «истинная речь». Другие ученые также утверждали, что голосовые сигналы шимпанзе чисто инстинктивны. Так, У. Фёнесс, изучавший орангутанов, высказался совершенно четко: «Артикулированной речи они не имеют и общаются друг с другом с помощью звуков, не слишком отличающихся от собачьих»²². Это мнение было особенно весомым, так как Фёнесс одним из первых попытался обучать обезьян человеческой речи.

— Так могут обезьяны хоть как-то говорить или нет?

— Думаю, что у диких обезьян нет ничего подобного языку. Но все исследователи отмечают богатство звукового репертуара шимпанзе. В частности, один из основателей гештальтпсихологии В. Келер склонялся к тому, что шимпанзе могут произносить многие, если не все, звуки, встречающиеся в человеческой речи, и лишь уровень психического развития не позволяет им говорить²³.

Из работ, посвященных естественным «словам» шимпанзе, наиболее известно исследование знаменитого приматолога Р. Йеркса, проведенное им в начале 20-х годов вместе с его ученицей — пианисткой Б. Лернед. Они зарегистрировали около трехсот музыкальных фраз, которые могли произносить их питомцы. Из этого набора было выделено 32 элемента типа gah, gahk, gha, kuh-kuh, Ho-oh, Ngak, m, Ah-oh-ah, ai, ooh, ue²⁴.

Все эти сигналы, которые Лернед распознала как значимые и описала с учетом тона и условий произ-

несения, были разделены на две большие группы: звуки, связанные с едой (в ожидании еды и во время еды) и звуки, связанные с другими существами (в общении с людьми и в общении между собой). В заключение ученые пишут: «Хотя юные шимпанзе используют множество разнообразных значимых звуков, это не речь в общепринятом понимании. Следовательно, у шимпанзе нет языка, хотя, конечно, есть некоторое полезное замещение его, которое легко может быть развито в настоящей язык, если животных постоянно побуждать к имитации звуков»²⁵.

Однако эксперименты других исследователей показали, что оптимизм Йеркса и Лернед был необоснован: побуждая шимпанзе постоянно имитировать звуки, нельзя заставить их говорить.

В 60-е годы XX века, когда начали изучать звуки, производимые шимпанзе в естественных условиях, выяснилось, что воспитываемые людьми шимпанзе используют в основном те же звуки, что и их дикие собратья²⁶. Этот факт, пожалуй, сильнее, чем какой-нибудь другой, свидетельствует об инстинктивной природе звуковых сигналов шимпанзе.

— Итак, будем считать твердо установленным, что языка, подобного человеческому, высшие обезьяны не имеют. Но они используют большое число разнообразных звуков. Интересно знать, какое вообще место занимает способ их звукового общения в общей эволюции животного мира. Можно что-нибудь сказать по этому поводу?

— Можно, хотя и не очень много, так как зооэтиология — наука о способах общения животных — делает пока лишь первые шаги. А перед этим я хотел бы послушать очередную былинку. Про то, как от «ахов» человек пришел к словам.

— Ты прямо как в воду глядел. Сочинил я одну. Давай расскажу.

Былинка про каменного льва²⁷

О том, как люди заговорили, гадают давно. Еще наши деды и прадеды над этим головы ломали. Уже и тогда кое-кто позволял себе считать, будто говорить может только человек, а другие животные и так обходятся.

Конечно, можно бы не принимать в расчет эти домыслы, да уж больно часто слышишь их.

А стоит только задуматься, так яснее ясного станет, что тем, кто живет стадом или стайкой, без языка никуда: ни воспитать детей, ни крикнуть на подмогу, ни поделиться радостью. Да и просто посмотри вокруг — все друг дружке о чем-то лопочут, щебечут, машут, пахнут, даже током бьют. Взять ту же пчелу. Так найдет она полянку, где нектару полно, и враз летит в улей и ну там танцевать. Покружатся с ней подружки, а потом сами летят точнехонько на ту полянку. — Знать поняли, где она. Чем это не разговор? Человек и тот не сразу так доходчиво объяснит. Конечно, у людей тем для разговоров побольше, не только еда, но, в общем-то, какая разница! Взять ли зверя: он и скулит, и стонет, и тявкает, и рычит, и урчит — чем не слова? Только очень уж он волнуется, переживает эти самые слова. Люди поначалу тоже. Сильно все переживали, беспокоились.

Жил один такой. Всего-то он боялся — от тени своей шараялся. Простого льва невдалеке увидит — закричит, заплачет и бежит в пещеру сломя голову. Вот сидит он как-то вечером, камнем о камень бьет, грустные мысли без слов думает, озирается — как бы лев не подкрался. И точно — стоит рядом громадный лев! Завопил человек, замахал руками, — а тот и ухом не ведет. Кинул человек в него камнем — и бежать. Остановился дух перевести, прислушался — тихо. Неужели, думает, убил? Вернулся с опаской, присмотрелся, — а то вовсе не лев, камень простой. Засмеялся человек и пошел жене рассказывать. А как? Сделал он страшное лицо и рыкнул! Жена визжит, дети плачут. Тогда человек руками замахал: не поняли вы меня, нет здесь льва, я его не по-настоящему видел. И снова стал объяснять: заревел, уже потише, показал, как он камень хватает, как кидает его и бежит, как потом никого не оказалось. Опять до них не дошло.

Много раз пытался человек эту историю рассказывать. И мало-помалу крики и жесты его совсем другими делались. А потом и вовсе стал сказывать да показывать спокойно и одинаково. Дети и жена — подражать начали. Попросят, бывало, Расскажи, мол, как ты камень за льва принял, — да сами все ему и представят. Так и слова пошли. В этой семье до

слова «ЛЕВ!» докричались, в другой — до «МЕДВЕДЬ!», в третьей — до «МАМОНТ!».

Каменное время еле-еле ползло, слова копились не скоро, но в конце концов их даже на целый английский язык хватало.

Маршрутами птиц

Гоацин — птица несъедобная: как от крокодила, пахнет от него мускусом. Гоацин и кричит не по-птичьи: квакает, как лягушка.

Детская энциклопедия

— Как я уже говорил, животные пользуются множеством разнообразных сигналов, в том числе и звуковых. Понятно, что для меня сейчас важны только те свойства этих сигналов, которые как-то приближают нас к языку человека. Такими свойствами я считаю *нацеленность на общение* и *произвольность*.

Нацеленность на общение — это использование звуков для контактов с другими существами. Можно кашлять, потому что кашляется, а можно кашлять намеренно, чтобы вызвать жалость к себе у другого человека. И только во втором случае кашель — средство общения. (Правда, у животных эта «намеренность» в принципе может быть совершенно неосознанной и догадаться, что их сигналы что-то значат, можно лишь косвенно, по реакциям других.) Но как отличить одно от другого? Гарнер, например, верил, что звуковые сигналы обезьян служат сознательному общению, а другие ученые полагают, что эти сигналы не зависят от того, слышит их кто-то или нет.

Если нацеленность на общение установлена, то можно думать, что соответствующий сигнал произведен. Насколько я знаю, лингвисты со времен Соссюра считают произвольными все языковые знаки.

— Не так все просто. Споры об этом продолжаются и по сей день.

— А вопрос произвольны ли звуки животных, еще сложнее. Прежде чем отвечать на него, скажу, что уже само содержание термина *произвольность* толкуется

по-разному. Я в свое время обнаружил пять его значений²⁸. Три из них мне понадобятся, чтобы вписать человеческий язык в естественную историю. Если следовать Дарвину, то речь можно представить как одну из струй великой реки эволюции. И значит, есть такое место на этой реке, где уже не мычат, не рычат, не воркуют, но еще и не разговаривают. Туда мы и пойдём.

— Думаю, Эпикуру и не снилось, что он заведет потомков в такую даль. Он говорил в лучшем случае о нескольких поколениях, а тут десятки миллионов лет!

— Да, человеческая история с тех пор сильно удлинилась — и особенно за последние полтора века... Итак, три значения произвольности.

Это, во-первых, *неинформативность*: без предварительной договоренности нельзя по звучанию слова узнать его точное значение. Скажем, как бы ни анализировать звуковую цепочку «о-б-е-з-ь-й-а-н-а», о самой обезьяне мы ничего не узнаем. Собственно, об этом и шла речь у греков. Демокрит считал, что слова произвольны. А Гомер и Платон, да и многие современные ученые, с этим бы не согласились.

Во-вторых, *неинстинктивность*: звуковая цепочка не определяется состоянием того, кто ее произносит. Так, стон или храп произвольны, а звуко сочетание «Доброго пути!» — произвольно.

В-третьих, *независимость от ситуации*. Скажем, вы вскрикнули оттого, что рядом с вами упала большая буква с вывески. Ваш вскрик задан ситуацией (и даже может быть совсем нечленораздельным). А если вы рассказываете об этом приятелю, вы вольны сказать и «на меня чуть не упало метровое „Ю“», и «меня сегодня чуть не зашибло одной железякой с вывески» и т. д.

Все эти три значения произвольности характерны для человеческой речи.

Различение типов произвольности или определение того, произведен звук намеренно или нет, — дело очень тонкое. Птенцы могут пищать потому, что прилетели родители, а могут и без всякого внешнего повода. Птицы могут петь, чтобы привлечь внимание, и просто потому, что им поется, и по каким-то иным причинам²⁹. Короче говоря, реакция организма на внешний сигнал связана с его внутренним состоянием.

Общение пронизывает природу. Можно сказать, что общается все: человек — с солнцем, волк — с зайцем, камень — с водой, растение — с землей, и т. д. *Не общаться* невозможно. И, изучая общение, мы должны изучать всю природу. Но тогда понятие общения совпадает с понятием *информации*. А понятие информации уже давно приблизилось к понятию бытия вообще, если еще не поглотило его. Как мольеровский Журден только в пожилом возрасте узнал, что говорит прозой, так и мы в XX веке вдруг обнаружили, что все вокруг обменивается информацией. Но я в эти философские дебри не полез. Ограничусь, во-первых, общением в органической природе и, во-вторых, только в животном царстве.

Правда, специалисты по семиотике уверяют, что и растения общаются. Так, одни виды растений, выделяя секреты, способствуют выживанию других. Да и вообще, многое в генетике растений рассчитано именно на общение. Известно ведь, что красивые цветы привлекают пчел, и, наверное, цветы особенно хороши в ультрафиолетовом диапазоне, который мы не видим, а пчелы видят и ценят. Если бы обо всем этом знали любители природы в XIX веке, они неминуемо заговорили бы о языке растений.

В-третьих, возьму только звуковое общение и, в-четвертых, лишь внутривидовое: язык нужен в первую очередь для общения людей, а не для бесед, скажем, с собаками.

— Погоди! Многие ученые — Э. Кондильяк, Р. Пэйджет, Н. Марр и другие — доказывали, что язык начался с жестов: знаков руками, мимики, телодвижений.

— Рассмотрим этот вопрос попозже, а сейчас будем выяснять, как животные пользуются звуками, и лучше всего начать с птиц.

— От птиц до человека далеко. Может, сразу начать с млекопитающих? Хотя, помнится, знаменитый маг и алхимик Филипп Ауреол Парацельс Теофраст Бомбаст фон Гогенхейм в первой половине XVI века провозгласил, что первоначальная человеческая речь была подобна пению птиц. Более того, он заявил, что раньше всех на земле заговорили птицы, а человек, пытаясь понять их язык, придумал свой собственный. А в конце XIX века эту же идею в одной из своих ранних работ отстаивал Г. Шухардт. Слушая звонкие весенние трели птиц, он решил, что язык создала лю-

бовь³⁰. Но ведь такие теории сейчас никто всерьез не принимает.

— Не будем спешить. «Язык» птиц позволяет обнаружить кое-какие закономерности, почему я все-таки и хочу о нем поговорить. Но, разумеется, я вовсе не собираюсь напрямую сравнивать пение соловья с концертом Карела Готта. Хотя, описывая птиц, даже специалисту трудно удержаться от патетики. Крохотное птичье горлышко под пером орнитолога вырастает в подобие органа: «В целом голосовой аппарат птиц оказывается построенным по типу язычковой (органной) трубы, в которой роль нагнетающих мехов играют легкие и воздушные мешки, роль колеблющихся язычков — голосовые губы и перепонки, а роль резонирующей трубы и раструба — трахея и ротовая полость. Подобно органной трубе, и в этом аппарате сила вдуваемого воздуха, напряженность перепонки, ширина и длина трахеи видоизменяют звук, его интенсивность и тембр»³¹.

Производимые этим крошечным органом мелодии принято делить на призывные (позывы) и защитные (тревожные). По тому, как птица их выпевает, ее узнать так же легко, как и по внешнему виду. (За исключением некоторых тревожных криков: например, по крику жертвы в когтях ястреба вид птицы определить невозможно³².) К защитным сигналам относятся ориентировочный (заставляющий других насторожиться); сигнал тревоги; боевой клич; отпугивающий сигнал; крик «ужаса» (побуждающий стаю к немедленному бегству)³³.

Призывные сигналы делят на: основной видовой призывный крик; весеннюю демонстративную песню; ухаживательную песню; «призывный брачный крик; призыв к спариванию; призыв к смене дежурства у гнезда (у некоторых видов); пищевые сигналы..., призывный крик птенца; сигнал нахождения пищи; сигнал сбора птенцов»³⁴.

С какой целью птица вскрикнула или запела, не всегда понятно. Одни орнитологи в пении самца слышат предупреждение — «территория занята!», другие (вслед за Дарвином) — любовный призыв. Так, по словам О. С. Петтинджила, птичья песня — это «серия звуков, последовательно повторяемых по строго определенной схеме и производимых, как правило, самца-

ми, и обычно в брачный период»³⁵. Пение самца привлекает самок, которые оказываются, как любят говорить биологи, «агентами естественного отбора». Все остальные крики, кстати, у самцов и самок одинаковы.

Нацеленность звуков на общение в некоторых случаях не вызывает сомнений. Взять хотя бы звуковые сигналы в птичьей стае. Но это, как сказали бы в XIX веке, — «мудрая предусмотрительность природы». Птица кричит от испуга: ее чуть-чуть не поймал ястреб. А этот же самый крик — предупреждение об опасности остальным птицам. Общение состоялось, но утверждать, будто птица хотела что-то сообщить, нельзя.

— Но биолог, настроенный подобно Гарнеру, перевел бы этот крик на человеческий язык и утверждал бы, что птица закричала: «Берегись! Ястреб!» — специально, чтобы предупредить родственников.

— Наверняка! Разумеется, сознательность здесь исключается.

Значимость звуков для жизни птиц медленно, но верно возрастала. Их предки рептилии, как известно, молчаливы. Поэтому «вполне закономерно предположить, что на заре становления класса птиц в отдаленную юрскую эпоху (150 миллионов лет назад) функция голоса у птиц тоже была ограниченной и служила в основном целям обнаружения особей другого пола в период размножения. По мере совершенствования полета и увеличения подвижности птиц значение голоса в их жизни стало возрастать»³⁶.

И еще раз о произвольности. В общем, по большинству криков можно судить об их значениях, хотя «порой... приходится убеждаться в том, что далеко не каждому звуку, издаваемому птицей и отличающемуся акустической характеристикой, строго соответствует определенная смысловая нагрузка»³⁷. Разные звуки могут выражать одно и то же внутреннее физиологическое состояние. Зяблик, например, может издавать два отчетливо различающихся крика, выражающих беспокойство, причем, встревожась, он иногда издает их один за другим.

Таким образом, исследователи в основном согласны, что птицы производят сигналы инстинктивно, произвольно: «...Пение — показатель физиологического состояния самца, и это несколько не противоречит его главной функции — оповещению о готовности вступить

в брак. Ответная реакция самки, соседа-самца, синхронизация половых циклов — это уже результаты пения, его практический итог, неподвластный воле певца-исполнителя»³⁸. Не случайно Дж. Холдейн называет птиц «идеалистами» в духе Беркли — своими криками они обозначают «лишь собственные внутренние состояния, но не внешние объекты»³⁹.

— Но ведь это значит, что птицы не могут обманывать. Невозможно представить воробья, чирикающего о любви просто так, для развлечения. Кстати, он не может и промолчать⁴⁰. А человек даже в самом отвратительном состоянии души может говорить, как ему хорошо, и молча терпеть сильнейшую боль. Великий лицемер Талейран, я думаю, не догадывался, как глубока его мысль о языке, который нам дан для того, чтобы скрывать свои мысли.

— То-то он и был прекрасным дипломатом... Но вернемся к нашим птицам. Считать, что их сигналы не связаны с ситуацией, с окружающей средой также, по-видимому, нельзя, причем виды связей многообразны и интересны. Так, М. Кониши показал, что напоминающие покашливание тревожные сигналы маленьких птичек сбивают с толку сову. Звучание этих сигналов таково, что, слыша их, сова не может понять, где же добыча⁴¹. Более того, «...звук окружающей среды заметно влияют на голосовое поведение птиц. Они стимулируют пение, видоизменяют и обогащают видовую песню и иногда регламентируют ее во времени... Стимулирующее и видоизменяющее действие звуков на голоса птиц мы называем явлением звуковой индукции»⁴². Проще говоря, то, что птица слышит, может влиять на то, как она поет.

Возникает своеобразное противоречие: звуковые реакции певца заданы генетически, но характер этих реакций может зависеть от внешних факторов. Взаимодействие двух видов произвольности ведет к некоторой произвольности: сам сигнал уже не столь жестко обусловлен ситуацией или внутренним состоянием птицы. И у некоторых, наиболее «разговорчивых», пернатых каждый самец поет песню, в чем-то отличающуюся от песен других самцов.

Но так поют лишь некоторые. Дело в том, что птицы, имеющие «демонстративную» песню, делятся на две группы: представители первой наследуют всю

песню чисто генетически (это голуби, куры, кукушки и др.), представители второй — наследуют только ее основу, а окончательное формирование песни происходит путем звуковой индукции — пения взрослых птиц и шумов окружающей среды. Только птицы второй группы и способны воспроизводить звуки человеческой речи и целые фразы (как знаменитая канарейка, которая невозможно тоненьким голосом приносила по-немецки «Где же ты, моя крошка, где же ты?»⁴³, или майна, которая любила исполнять мелодию песни А. Островского «Вьюга смешала землю с небом» и обучала этой мелодии других птиц⁴⁴).

То есть для этих птиц очень важно «во птенчестве» слышать хорошее пение взрослых, чтобы иметь образцы для подражания. Именно поэтому, например, ухаживали пение курских соловьев: много лет отлавливали лучших певцов и фактически лишили юных вокалистов достойной певческой школы.

Замечательно еще то, что период чувствительности к обучению может не совпадать с возможностью петь самостоятельно. Например, самцы белобровой овсянки, «изолированные от особей своего вида и прослушавшие одну песню в возрасте двух месяцев, а другую между 3-м и 10-м месяцами, обучались только первой песне»⁴⁵.

Многообещающие (в частности, и по причине своей полной аморальности) исследования показывают, что в процессе эволюции вырабатывается механизм обратной связи. Голубь, хирургически «оглушенный» вскоре после появления на свет (ему перерезают слуховые нервы), производит те же звуки, что и его здоровые собратья, в то же время и в том же порядке⁴⁶. Иное дело попугай. Если его просто изолировать и вообще не давать слушать других, то он может исполнять довольно сложные песни. Но если его в раннем возрасте оглушить, он начнет скрипеть и верещать подобно насекомым. Попугай обязательно должен слушать пение взрослых птиц и, что очень важно, себя. Причем слушать и запоминать он, как и некоторые другие птицы, начинает раньше, чем петь⁴⁷.

Выясняется, что развитие контроля над собственным исполнением не обязательно связано с умением слушать других и перенимать их пение: «...Лишение слуха может оказать решающее влияние на развитие песни даже у таких видов, как американский певчий

воробей, который обычно не подражает чужой песне; по-видимому, контроль над собственным исполнением важен и тогда, когда подражание пению других особей не играет никакой роли»⁴⁸.

— Опять царский эксперимент! — только не над детьми, а над птенцами!

— Да, поистине царственное безразличие к судьбам приходящих в мир.

— А зачем птицам понадобились индивидуальные песни?

— Предполагается, они понадобились для того, чтобы птицам одной пары было легче узнавать друг друга⁴⁹.

— Стоп! Давай-ка я попробую подытожить сказанное, а то мы запутаемся. Ни о какой произвольности «языка» птиц речь идти не может. В этом смысле он совершенно несопоставим с человеческим. Но в ходе эволюции, во-первых, набор звуковых сигналов все более расширяется; во-вторых, пение некоторых птиц все меньше определяется только генетикой и все больше тем, что звучит вокруг, в частности пением старших; в-третьих, у самых «разговорчивых» птиц начинает устанавливаться связь между слухом и голосом; в-четвертых, взаимодействие инстинктивной и ситуативной произвольности рождает индивидуальные песни. Иными словами, формируется некоторая произвольность сигнала в пределах вида, т. е. *культурное*, а не инстинктивное наследование. Индивидуальные различия в песнях становятся дополнительным фактором естественного отбора. Но мне неясно, чем определяется разнообразие звуковых сигналов и есть ли какие-то существенные различия в образе жизни птиц с богатым и бедным песенным репертуаром.

— Похоже, есть. Наиболее музыкальные птицы, как правило, более свободно и быстро перемещаются, легко удаляясь от стаи. Попугай в поисках пищи за считанные минуты преодолевает несколько миль. Напротив, птички, живущие стаями на очень небольшой территории, песен не поют, даже обладая хорошими вокальными данными⁵⁰.

— Значит, музыкально одаренные и поющие собственные песни птицы живут стаями, но кормятся на гораздо большей территории, чем другие стайные виды?

— Вот именно. Дж. Хол-Крэгс даже основала на этом свою гипотезу происхождения музыки. Об этой гипотезе стоит упомянуть хотя бы для того, чтобы показать, какие смелые аналогии проводят ученые, выступающие в роли дилетантов.

— Камни в наш огород?! Ну давай.

— Суть гипотезы в предположении, что голосовые связки были помещены в человеческую гортань не для пения. Но в таком случае «песня должна была развиваться путем отбора и усиления тех характеристик речи, которые давали преимущество в определенных обстоятельствах»⁵¹. Нечто подобное происходит в общении людей на большом расстоянии. Намеренно усиливаются те звуки, которые разносятся дальше. Соответственно усиливаются и продлеваются гласные, а согласные почти исчезают, и слово практически теряет смысл. Слово начинает звучать наподобие йодля альпийских горцев — чисто голосового пения без слов с резкими переходами от грудных звуков к фальцету. Такой способ общения принят до сих пор во многих горных областях, и из него, возможно, развилась музыка. Отсюда следует закономерность (которая нуждается, конечно, в тщательной проверке): степень музыкальности народа прямо зависит от условий его жизни. Люди, населяющие горные или труднопроходимые лесистые районы — если они вынуждены регулярно общаться — должны быть музыкальнее обитателей открытых равнин.

— Французские мыслители в XVIII веке, рассуждая о происхождении языка, обязательно затрагивали темы различия языков пастушеских и земледельческих народов и появления музыки. Воистину «нет ничего нового под солнцем»! Тогда считалось несомненным, что вначале язык был очень музыкальным и, значит, язык и музыка имеют одни и те же корни. Об этом писали и Кондильяк, и Руссо.

На рубеже XIX—XX веков эта тема получила новое освещение в работах К. Бюхера. Он обратил внимание на связь коллективных трудовых действий с ритмической поэзией и музыкой. Истоки музыки Бюхер усмотрел в ритмизированной речи, давшей начало и поэзии. Поэтому одна из глав его работы называется «Происхождение поэзии и музыки». Но

сам язык, по Бюхеру, появился независимо от музыки⁵². В этой традиции работает и Хол-Крэгс.

Но еще один вопрос: можно ли закономерности, выявленные в поведении пернатых, переносить на поведение млекопитающих?

— Думаю, что можно. По крайней мере — это серьезный повод для размышлений.

В самом деле, число «разговорчивых» млекопитающих намного меньше, чем птиц. Это можно объяснить тем, что во время кормежки животные расходятся не так быстро и не так далеко. Но любопытно, что в тех редких случаях, когда млекопитающие — бородатые тюлени, некоторые китообразные, отдельные виды летучих мышей — широко используют звуковые сигналы (в частности, для привлечения самок), они и обучаются этим сигналам⁵³. И заметьте, эти животные своим территориальным поведением больше других напоминают птиц. Видимо, здесь скрыты универсальные закономерности, но для категорических утверждений данных пока явно недостаточно. Так, известно, что некоторые тюлени, имеющие гаремы, кричат по-разному. А помогает ли это самкам отыскивать родной гарем, неизвестно. У обезьян...

— Погоди, об обезьянах — потом. А сейчас скажи, что из всего этого кажется тебе наиболее важным для решения проблемы происхождения языка?

— Хорошо. Во-первых, то, что на каком-то этапе, очевидно, возникает и начинает совершенствоваться связь между слухом и голосом, которые в общем-то эволюционируют отдельно друг от друга. Эта связь развивается до такой степени, что «говорящий» начинает слушать себя и корректировать собственное «произношение». Когда произнесение и восприятие жестко заданы генетически, это немислимо. Таким образом, *слышать* себя становится необходимо, чтобы начать *говорить*.

Во-вторых, формируется способность издавать больше звуков, чем это нужно по обстоятельствам. Это позволяет, варьируя песни, лучше применяться к условиям обитания. Возникает механизм культурного наследования.

Все это заставляет пересмотреть традиционные подходы к проблеме происхождения языка.

Если жесткой связи между производством и восприятием звуков нет, то механизмы, которые обеспечивали восприятие звуковых сигналов, изменение голоса под влиянием образцов и многое другое (без чего человеческий язык немислим), могли возникать и совершенствоваться независимо друг от друга. Это подтверждается, в частности, известными опытами П. Эймаса. Оказывается, ребенок способен воспринимать отдельные звуки человеческой речи задолго до того, как сам может их произносить (вспомните белобровую овсянку!). И дело не в том, что он их слышит, а в том, что он воспринимает их как взрослый, владеющий языком. Младенец слышит речь как звуковой поток, состоящий из отдельных единиц, и не любых, а именно тех, каждая из которых соответствует букве⁵⁴.

Уже одно это заставляет отбросить все теории, которые учитывают только произнесение, а понимание берут как что-то само собой разумеющееся. Способность говорить вполне могла развиваться независимо от потребности обозначать внешние предметы. В свою очередь, обозначение и понимание существовали и развивались сами по себе. А реально обозначать что-нибудь с помощью звуков стало возможным только тогда, когда наши предки научились слышать себя и окружающих. Обобщая, скажу: для речи нужна была координация многих механизмов, которые формировались отдельно друг от друга, а условия обитания могли задавать эту координацию⁵⁵. Следовательно, *умение производить энное число звуков совершенно не означает, что перед нами язык, подобный человеческому*. Но и наоборот: неумение производить некий набор звуков еще не означает отсутствия языка.

Далее. Изменение образа жизни заставляет меняться и способ звукового общения. Необходимость освоить обширные пространства принуждает некоторых пернатых варьировать свои песни. Это же происходит и у млекопитающих. Если между территориальным поведением и песнями существует отмеченное соответствие, возможно, имело бы смысл проследить обратный процесс — исчезновение индивидуальных различий в пении птиц, у которых заметно сократилась площадь обитания. (Но эволюция необратима. Скорее всего, такое важное видовое приобретение — возмещ-

ность сородичам быстро и надежно узнавать друг друга — сохранилось бы и помогало в естественном отборе.)

Я думаю, эта закономерность позволяет взглянуть на эволюцию звукового общения наших предков. Логично предположить, что *формирование языка началось не с отдельных простейших звуковых единиц*, вроде «аа» или «ээ» (а именно это постулируется большинством современных исследователей), а *со сложных звуковых комплексов, которые постепенно обособлялись и упрощались*. Во всяком случае, такая гипотеза, как минимум, имеет не меньше прав на существование.

Да и кроме того, если я сумел показать, что прямое сопоставление «языков» животных с языком человека ничего хорошего не дает, — это тоже результат.

Прощаясь с птицами, я хочу подчеркнуть, что если появление *культурного* механизма передачи звуковых образцов — это качественно новый этап звукового общения, то язык человека отделяется от «языков» животных *целым рядом таких этапов*. И говорить о простом умножении звуков, свойств, качеств, как это делают некоторые ученые, *нелепо*.

Вторая встреча с обезьяной

*О, сколь сложа на нас зверь гнусный
обезьяна!*

К. Линней

— Возвращаясь к обезьянам, я хочу обсудить два вопроса: как обезьяны общаются в естественных условиях? И могут ли они овладеть человеческим языком?

Мы остановились на том, что языка, подобного человеческому, у них нет. А что же тогда есть? Если обратиться к капуцинам, с которых начинал Гарнер, обнаруживается, что современные исследователи выделяют в их речи примерно столько же *типов сигналов*, сколько *слов* слышал Гарнер, — семь. Это ориентировочный сигнал, короткий пищевой сигнал, длинный пищевой сигнал, приветственный сигнал, призывный сигнал, оборонительный сигнал, сигнал угрозы

и агрессии⁵⁶. (Ну а разница между сигналом и словом, я думаю, понятна: от птичьих сигналов капуцины не слишком отличаются.) Следовательно, Гарнер нашел не совсем то, что искал. Устойчиво различающиеся звуковые сигналы он принял за разные слова. Если их перевести в духе Гарнера, то и получится: «Ох, как вкусно!», «Лучше уйти!» и т. п.

Кстати сказать, у собачьих — лис, койотов, песцов, волков — обнаруживается почти такое же число типов сигналов — восемь⁵⁷. Если я точно помню, столько же у лягушек.

Оценивая произвольность естественного «языка» наших ближайших родственников по фауне, нужно сказать, что для большинства обезьян, если не для всех, инстинктивная внутренняя заданность сигналов выше, чем у птиц. Соответственно ниже степень ситуативной непроизвольности. «Во всех... ситуациях голодовой рефлекс, каким бы императивным он ни оказывался, не является автоматическим порождением ситуации, так как в самом явлении звукопроизводства, по-видимому, главная роль принадлежит состоянию самого организма, точнее — известным нервным механизмам, в систему которых включен голосовой компонент»⁵⁸. Так, не просто сам вид пищи, а лишь хороший аппетит побуждает шимпанзе издавать «пищевые» звуковые сигналы. Таким образом, можно только повторить то, что говорилось об «идеализме» птиц: «Обезьяна, издающая тот или иной звуковой сигнал в определенной ситуации, *не может не делать этого*, таковы физиологические закономерности коммуникативной системы как одного из биологических механизмов стадных форм поведения приматов и, вероятно, других животных»⁵⁹.

Но, разумеется, и состояние животного задано чем-то в окружающей его среде. Это подтвердили, к примеру, тщательнейшие наблюдения группы американских исследователей во главе с С. Грином за жизнью самой изученной на сегодня обезьяны — японской макаки⁶⁰. В течение 14 месяцев издаваемые обезьянами звуки записывались и сопоставлялись с тем, на что реагировали макаки. В результате было выявлено десять типов сигналов — свист, лай, визг, воркование и др.



Возьмем один из этих типов — воркование (coos). В нем было выделено «удвоенное» воркование, «долгое низкое», «долгое высокое» и пр. Каждое из них преимущественно употребляется в определенных стандартных ситуациях. Так, «удвоенно» чаще всего воркует самец, находящийся в отдалении от стада (зафиксировано 18 случаев), но может и самка без детеныша (3 случая) или еще юная самочка (2 случая). То же и с другими сигналами. «Плавный» чаще всего издает самка в период течки (33 случая), «подчиненная» особь в обращении к «вышестоящей» (5 случаев), детеныш, адресуясь к матери (8 случаев), отдельно стоящий самец (2 случая). Словом, есть преобладающая *ситуативная заданность* сигналов, но ни в одном случае нет четкого соответствия. И как угадать смысл сигнала, если даже в простейшем общении самки и детеныша можно различить не меньше четырех разных его нюансов?!

— Любопытно! А вот когда говорят: в «языке» таких-то животных столько-то «слов», то что имеют в виду?

— Думаю, что-то смутное. Видимо, число четко различающихся звуковых сигналов.

— Сколько же «слов» у японской макаки?

— Десять, если считать типы.

— А с учетом вариантов?

— Где-то около пятидесяти.

— А если учесть все нюансы?

— Получится не меньше нескольких сотен.

— Как же тогда узнать их значения?

— Ну, это зависит от того, что считать *значением*.

— То же самое, что и у слов человеческого языка.

— А конкретнее?

— Мне очень понравилось то, что ты говорил, и я хочу ненадолго вмешаться со своей философией.

Слово в человеческом языке — это единство значения и звучания. Я не хочу давать специальных определений, а лучше поясню суть дела примером. Значение часто отождествляют с информацией. Но информация — это безбрежное понятие. Да и значение — далеко не просто информация, т. е., конечно же, информация, но особая. Так, кашель и слово «кашель» — информация. Но настоящий кашель — особенно для хорошего врача — может значить очень много, намного

больше, чем слова «у него кашель». Чтобы прочувствовать разницу, представим себе, что у нас из обихода исчезли все слова и остались одни интонации. Каким станет общение? Прежде всего предельно конкретным — ведь все сведется к передаче наших состояний. Интонация может передать, и даже точнее слов, смысл фразы «Мне хорошо!» или «Вали отсюда!», но передать интонацией смысл такого, например, предложения, как «Семиотика — наука о знаках», *в принципе невозможно*. Нельзя будет ничего сообщить о прошлом и будущем. А значит, исчезнет история и с ней — культура.

Ну, а теперь простой вопрос: можем ли мы посчитать наши интонации?

— По-моему, можем: гнев, досада, сомнение, восторг...

— Постой! Ты перечисляешь не интонации, а слова, обозначающие интонации.

— А разве это не одно и то же?

— Совсем нет. Можно называть интонации, уже переведенные в слова, но самих интонаций нам не сосчитать. Ведь та же интонация гнева варьирует от легкого притворного негодования до дикой ярости. И в промежутке между ними можно насчитать лишь столько ступеней, сколько у нас для этого найдется слов и словосочетаний. На самом деле здесь перед нами непрерывность — континуум. Ведь и расстояние, к примеру, мы измеряем эталонными единицами — метрами, стадиями, футами, локтями, — но это не значит, что расстояние складывается из метров. Вот и выходит, что значений интонации не имеют. А ведь «слова» животных очень напоминают наши интонации. Следовательно, составить макако-человечий словарь абсолютно невозможно. Убедил я тебя?

— Пожалуй.

— Итак, *слов* (как двойственных образований, у которых определенному звучанию соответствует определенное значение) у японских макак нет. *Слова* появляются только благодаря переводу их сигналов на человеческий язык. И считать, сколько слов используется ими, не имеет никакого смысла.

— Но мне, как биологу, кажется, все не так просто. У животных есть сигналы, которые, похоже, обозначают внешние объекты. При изучении звукового обще-

ния таких обезьян, как верветки, выяснилось, что у них некоторые специфические сигналы довольно точно называют не только внутренние состояния, но и события. Ученый, наблюдавший их, выстроил сигналы, издаваемые взрослыми самцами, в такой ряд (здесь даются условные обозначения, а не сами звуки): 1) Uh! — 2) Nyow! — 3) Chutter — 4) Rraup — 5) Threat-alarm-bark — 6) Chirp⁶¹. Если первыми двумя криками животные просто предупреждают остальных о какой-нибудь опасности, то уже третий издается только тогда, когда самцы видят человека и особенно змею. Четвертый сигнал, как правило, обозначает орла (и все бросаются с вершин деревьев вниз). Пятый сигнал звучит, если к стаду приближается крупный хищник — леопард, сервал, лев. Шестой сигнал вырывается у обезьян в случае опасности снизу, по реакции это полная противоположность четвертому сигналу (все бросаются вверх). Словом, эти сигналы хоть какое-то значение несут, не так ли?

— Допустим. А можно ли утверждать, что Rraup обозначает змею, а Chirp — леопарда?

— Нет-нет, не совсем так. Все-таки это в большей степени *плавные* сигналы, чем *дискретные*.

— Поясни, пожалуйста.

— Я начну с примера. Когда философ говорил об отношении интонации к произнесенному слову, фактически плавный сигнал — интонация — противопоставлялся дискретному — отдельному слову. Хотя разделить их можно только условно.

— А в каком смысле ты говоришь, что интонация — *плавный* сигнал?

— Да именно в том, что мы не можем задать четкий список интонаций. Помните пример с воркованиями?

— Да, конечно.

— Заметьте, их *количество* выделялось *не по значениям* как таковым, а *по ситуациям*, в которых они использовались.

— Ну и что? Слова тоже произносятся в отдельных ситуациях.

— Но считаете-то вы их количество явно по-другому! Когда лингвисты говорят, что в русском литературном языке 130 000 слов, это не значит, что считались *типы ситуаций* их употребления. Никак нельзя в том

же смысле сказать, что в русском литературном языке, к примеру, 50 000 интонаций. Так ведь?

Дело осложняется тем, что в каждом отдельном случае интонация конкретна и ей можно приписать дискретное значение. Человек закричал: «Берегись!» — четкий звуковой отрезок, четкий смысл, четкая интонация. Лев грозно зарычал — то же самое.

— Значит, плавный — не по характеру звучания, а как бы по характеру связи с другими сигналами?

— Верно. Если дискретные могут быть однозначно представлены на дискретной шкале, то плавные — на непрерывной, и только на ней. Сами по себе они в принципе не могут образовать систему. Поэтому и граница между криками верветок в действительности нестрогая, и другой исследователь сможет представить их по-своему. Повторяю: количество этих сигналов можно посчитать лишь потому, что мы их представляем дискретными, а не потому, что они сами по себе составляют, как слова языка, единства имен и смыслов.

И тем не менее пример с тревожными криками верветок показывает, что четкой границы между плавными и дискретными сигналами может не быть. Но тогда разница между «словами» животных и человеческими попросту стирается.

— Дайте еще раз сказать философу!

Думая об отношении интонации к слову, или, как ты выражаешься, об отношении «плавных сигналов к дискретным», я, кажется, понял один важный момент. Привыкнув пользоваться языком, мы в каждой ситуации *автоматически* любому звуковому, да и не только звуковому, *сигналу* приписываем *значение*, делаем его знаком. Но в таком случае, если даже звук «обозначает» лишь самого себя и ничего больше, мы приписываем ему какой-то дополнительный смысл, говорим, что он обозначает событие, предмет или состояние. А поскольку, как ты точно заметил, в конкретных ситуациях плавные и дискретные сигналы практически не различаются, мы автоматически переносим на плавные ту систематичность, которой обладают дискретные сигналы. Когда ситуация, в которой обезьянка издает тот или иной плавный сигнал, вполне определена, — к примеру, появляется змея, — он становится близким к дискретному, начинает напоминать слово «змея». Это удобно. Должно быть, у животных, кото-

рые много общаются, количество таких сигналов растет.

— Как раз наоборот! Растет число плавных сигналов. Не говоря уже о всяких нечетких воркованиях, даже хорошо различимые специфические сигналы сильно варьируются. Например, тревожный крик голубой мартышки, который явно отличается от других звуков, может так меняться по частоте, длительности, интенсивности, что разница между его вариантами становится подчас большей, чем между этим сигналом и другими криками. И если у верветок есть аналоги слов, то у самой «говорливой» и близкой к человеку обезьяны — шимпанзе — подобных сигналов нет⁶². И ясно, что «плавный репертуар» позволяет шимпанзе передавать друг другу тонкие нюансы своих состояний.

— Любопытно! Но, действительно, как раз и подтверждается наш вывод, что формирование языка начиналось не с простейших звуковых единиц, которые мы можем теперь назвать «дискретными», а с плавно варьирующихся звуковых комплексов.

— Да, это мы установили довольно надежно. Но при всем богатстве издаваемых звуков в способности повторить услышанное наша шимпанзе и та уступает и человеку, и птицам, а что уж говорить об остальных обезьянах!

— И это хорошо известно?

— Практически все попытки обучить шимпанзе или орангутанов человеческой речи окончились провалом. Об этих опытах я хочу рассказать поподробнее, потому что именно они лучше всего показывают, в какой степени наиболее близкие к человеку животные могут овладеть его языком. А получив в руки такой материал, мы сможем понять то, чем должны были обязательно овладеть наши предки, для того чтобы заговорить.

Выясняя, могут ли шимпанзе — если их воспитывать, как детей — овладеть зачатками речи, исследователи рассчитывали на их способности. Дело в том, что, во-первых, слух у них не хуже, чем у человека; во-вторых, голосовых данных вроде бы достаточно для произнесения слов (во всяком случае, в их сигналах встречаются все необходимые звуки); в-третьих, шимпанзе прекрасно подражают человеку, хотя и несколько уступают в этом отношении детям⁶³.

Человечество знает массу историй о говорящих животных. Если даже не брать обезьян, то известны весьма авторитетные свидетельства о лошадях, собаках, кошках и, конечно, попугаях, которые «говорили по-человечески». К примеру, «глубокомысленный Лейбниц ручается за факт, сообщенный им Королевской Академии в Париже, которая заявила, что усомнилась бы в нем, если бы он не был засвидетельствован таким выдающимся лицом, именно, что он слышал, как собака одного крестьянина отчетливо и раздельно произносила тридцать различных слов, которым ее выучил сын ее хозяина»⁶⁴. Ныне ученые подобных фактов почему-то не наблюдают — или потому, что не попадают такие талантливые собаки, или потому, что наш здравый смысл возражает против этого сильнее. Хотя еще в XIX веке Романэс мог рассказать следующее: «Попугай, которого я держал у себя для наблюдений, выучился подражать лаю таксы, также жившей в моем доме. Несколько времени спустя попугай стал прибегать к этому лаю как к символическому звуку или к имени собственному для обозначения таксы, т. е. всякий раз, как он замечал собаку, он начинал лаять, хотя бы собака и молчала. Вслед за этим он перестал относить этот знак к той специальной собаке, но стал неизменно применять его ко всякой другой, незнакомой собаке, появляющейся в доме ... Другими словами, название, данное попугаем индивидуальной собаке, превратилось у него в генерическое название для всех собак»⁶⁵.

Ну а теперь — об обезьянах. Про обучение орангутана вы уже слышали. Л. Уитмер в 1909 г. описал случай, когда дрессированная шимпанзе говорила «мама» (правда, с большим трудом — она более-менее отчетливо произносила «м» и почти неуловимо «а») ⁶⁶.

Мне известно, что начиная с 1932 г. и по сей день было предпринято пять попыток обучить шимпанзе звуковой человеческой речи: четыре — в США и одна — в СССР. В трех случаях шимпанзята воспитывались с детьми одинакового с ними возраста. Опыты показали, что шимпанзе реагируют на окружающую обстановку и возникающие ситуации так же, как и детишки. Они быстро приспосабливаются к условиям жизни. Сильно привязываются к воспитателю. И, в общем, до трех лет уровень их духовного развития близок к человеческому, зато физически они развиваются гораздо быстрее. Но обнаружилось, что, хотя шимпанзе очень любят подражать жестам человека, его действиям, мимике, они никогда не копируют и не производят звуков речи ⁶⁷. И ни у одной из обезьянок стадий лепета или «автономной детской речи», харак-

терных для ребенка, не наблюдалось. В сравнении с детьми шимпанзята молчаливы.

Венцом всех опытов стали четыре слова: «рара», «тата», «сир», «ир» — их выучила шимпанзе Вики, которая воспитывалась в семье Кейта и Вирджинии Хейз одна, без детского общества. Вики превзошла успех того орангутана, который в 1916 г. говорил только «рара» и «сир». Но в обоих случаях, чтобы научить обезьяну определенному слову, люди мучали животное и себя: они раздвигали пальцами губы обезьяны, и в нужном ритме. А до этого нужно было еще добиться, чтобы обезьяна по команде произносила хоть какой-нибудь звук. На одно это у Хейзов ушло пять месяцев ⁶⁸.

Я не могу избавиться от ощущения, что обезьяны начали говорить эти слова только для того, чтобы от них отвязались. Слава богу, что детей не приходится обучать таким варварским способом!

Итак, со звуковым языком у шимпанзе не пошло. Зато выяснились два важных обстоятельства. Первое: способность понимать человеческую речь у шимпанзе много выше, чем способность ее воспроизводить. Второе: у шимпанзе обнаружился своеобразный язык жестов.

Первое обстоятельство было известно еще Роберту Йерксу: «Все, кажется, свидетельствует о том, что их сигналы не образуют действительного языка... Ясно, что эти звуки прежде всего выражают эмоциональные состояния. Это тем более удивительно, если учесть, что у них есть понятия и они могут иногда действовать на основе озарения. Трудно с уверенностью утверждать, что они не выражают ничего, кроме чувств, или даже, что их словоподобные звуки начисто лишены смысла. Возможно, главная причина того, что человекообразные обезьяны не обучаются языку, — отсутствие хоть какого-то побуждения имитировать звуки. В отличие от зрительных восприятий, которые сильно стимулируют подражание, слуховые, видимо, у обезьян так не действуют. Многочисленные факты склоняют меня к мысли, что у человекообразных обезьян есть, что сказать, но у них нет дара использовать звуки для выражения индивидуальных, а не только видовых, чувств или понятий. Вероятно, их можно обучить пользоваться пальцами, наподобие глухонемых, и они

освоят простой незвуковой «язык знаков»⁶⁹. После экспериментов, проводимых с середины 60-х гг., могу сказать абсолютно уверенно: можно, освоят.

Перед тем как об этих экспериментах рассказывать, я хочу еще раз подчеркнуть: обезьянья способность производить звуки несоразмерна со способностью их копировать и способность обучаться (точнее, не обучаться!) произнесению слов несоразмерна со способностью понимать их. Шимпанзе понимают много словесных команд — это подтверждается их реакциями. (Они даже какое-то короткое время опережают в этом детей.) За девять месяцев шимпанзе Гуа научилась понимать 58 фраз, и 68 — ребенок, с которым она воспитывалась⁷⁰. Н. Н. Ладыгина-Котс в своем знаменитом исследовании «Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях» пишет, что шимпанзенок Йони понимал такие слова и фразы: «Иди в клетку!», «Играй мячиком!», «Сейчас приду», «Подними!», «Волк придет!» (покажется голова волка), «Догоню!», «Играй!», «Муха!» (озирается вокруг, ища мух), «Горячо!» и др.⁷¹.

— Очень часто, рассуждая о языке животных, приводят примеры того, как собаки и другие домашние животные *понимают* непростые порой команды. Отсюда и выражение: «Все понимает, только не говорит». Видимо, это не случайно?

— Разумеется. Но обратите внимание — говоря о языке, мы в общем случае подразумеваем, что человек может произнести столько же слов, словосочетаний, предложений, сколько он может услышать и понять, и наоборот. Это значит, что владение языком подразумевает, наряду со способностью произношения, еще и, как минимум, способности подражания голосам других и контроля за своим собственным голосом. А у животных то *понимание*, о котором ты сказал, в принципе оторвано от способов выражения понятий.

То, что шимпанзе хорошо понимают словесные команды, я думаю, объясняется тем, что в них мы неизбежно выражаем наши эмоциональные состояния, а обезьяны могут великолепно улавливать нюансы интонаций. Для этого им достаточно своего родового опыта восприятия плавных сигналов. А поскольку плавные сигналы в конкретных ситуациях вызывают

конкретные действия, наблюдатель решает, что они дискретны.

— Я опять вижу лицо оскорбленного любителя животных!

— И зря. Я не закончил. Может быть, дискретность нашего языка возникает точно таким же способом.

— Позвольте лингвисту пару слов! Возникает дискретность, может быть, и так же, но ты забываешь о *двойственности* знаков человеческого языка.

— Ты имеешь в виду единство звука и значения?

— Нет-нет. Я имею в виду то, что знаки, несущие смысл, строятся из более мелких знаков (или лучше — значков), которые смысла не несут. Известный семиолог Ч. Хоккетт, классифицируя признаки звуковых систем общения, называет это «дуальностью структурной организации». Идея его такова: звуковая оболочка слова как бы складывается из отдельных звуков. Например, слово «яхта» — из «й», «а», «х», «т», «а». Каждый из звуков не называет ничего, кроме самого себя, а в сумме они называют что-то совершенно другое — парусное судно. И нелепо утверждать, что это судно сложено из пяти звуковых элементов. Таким образом, бессмысленные, казалось бы, значки становятся материалом значимых единиц языка.

— Если я правильно понимаю, ты, дополнительно к произвольности, вводишь еще один критерий отличия языка от способов общения животных?

— Не совсем. Я думаю, что *двойственность* просто наиболее последовательно выражает свойство *произвольности* языка.

— Должен тебя разочаровать. Я действительно не знаю, чтобы животные по собственной инициативе использовали двойственные сигналы, но способность оперировать такими сигналами у человекоподобных обезьян есть. Я подразумеваю удивительные опыты по обучению шимпанзе языку глухонемых.

— Я кое-что слышал об этом, но не очень поверил.

— Да, в это поверить нелегко. В 1966 г. Аллен и Беатрис Гарднеры начали воспитывать шимпанзе Уошо, которая родилась на воле примерно за год до появления в их семье. Они общались с ней на амслене — языке американских глухонемых (AMerican Sign LANguage). Амслен — специфический язык, знаки

в котором двойственны, как и в естественном звуковом языке. Роль звуков исполняют в нем 55 исходных единиц — черем, из которых складываются жесты — «слова» и «фразы».

Гарднеры знали, что ребенок, обучаемый амслену, проходит стадию «ручного лепета» (аналогичную лепету нормальных детей). Но у Уошо ничего подобного не наблюдалось. Эффективность обучения резко возросла, когда экспериментаторы начали брать Уошо за руки и помогать ей делать требуемые жесты (кстати, это напоминает метод обучения уже знакомой нам Вики звукам речи). К некоторым жестам Уошо вынуждали. Так, ее не выпускали на волю, пока она не жестикулировала «открой дверь».

Результат превзошел все ожидания. Овладев семью-десятью знаками, Уошо начала их комбинировать. Количество знаков возрастало внушительными темпами — в течение первых семи месяцев обучения она научилась четырем знакам: «даймне», «еще», «выше», «открой», за следующие семь месяцев — еще девять, за следующие семь — еще двадцати одному. В ее словарь вошли такие знаки, как «извини», «смешно», «зубная щетка», «ребенок», «чистый» и др. В течение дня Уошо употребляла от 23 до 28 знаков⁷². По сравнению с четырьмя словами Вики это была лавина. Всего Уошо освоила около сотни знаков. Первые словосочетания в основном включали знаки «даймне», «еще», «пожалуйста» плюс название того предмета, который был ей нужен. Затем она стала «произносить» более сложные комбинации.

Как видите, шимпанзе *заговорила!* Так что в ее речи проявились и *произвольность* и *двойственность*. За Уошо заговорили шимпанзе Люси, Сара, Лана и прочие. Сара и Лана уже на других языках. Сара научилась беседовать с воспитателем, выкладывая пластиковые фигурки на магнитной доске, а Лана — печатая на специальной машинке. Конечно, можно утверждать, и вполне обоснованно, что в природных условиях такого не встретить, что только человек изобрел язык, а шимпанзе учатся ему, уже созданному и доведенному до совершенства. Но эти опыты демонстрируют, что многие способности, без которых невозможно языковое общение, есть у наших двоюродных родственников и, очевидно, были у наших прямых предков.

— Поразительно! Выходит, обезьяны нанесли чувствительный удар по гордыне венца творения. «Разум и слово, вот что составляет человека, вот что делает его самым совершенным созданием на земле», — восклицал Л. Фигье. — «Покажите мне говорящую обезьяну, и я соглашусь, что человек не что иное, как усовершенствованная обезьяна. Покажите мне обезьяну, выделяющую из кремня топоры и стрелы, высекающую огонь, готовящую себе пищу, одним словом, действующую как разумное существо, и я признаю себя орангутаном в новом, исправленном издании»⁷³.

— Да, Гарднеры считают, что они продемонстрировали говорящую обезьяну, и Луи Фигье должен снять шляпу перед своими обезьянными родственниками.

Но далеко не все согласились, что Уошо заговорила как человек. Начали придумывать, как вознести язык над жестикуляцией обезьян, стали искать, где приколотить табличку с надписью «Только для человека!». Особенно усердствуют лингвисты. Н. Хомский утверждает, что науку вообще не должен занимать вопрос, можно ли считать языками общение пчел, музыку, кудаханье кур. Такого же рода, он считает, и речь Уошо. Предположим, рассуждает Хомский, человек научил голубей нажимать в определенном порядке четыре цветные клавиши. Если на этих клавишах написать слова: «Дай», «Мне», «Поесть», «Пожалуйста», — будет ли это означать, что голуби произносят человеческую фразу? Если считать, что так, то не равнозначно ли это утверждению — человек умеет летать почти как курица, но не так хорошо, как канадский гусь⁷⁴.

— А ты с Хомским не согласен?

— Нет. Ведь шимпанзе-то заговорили. Не совсем так, правда, как взрослые люди, но сам факт не вызывает сомнений. Гарднеры справедливо пишут, что Уошо «выучила естественный человеческий язык, и ее ранние высказывания были очень похожи на ранние высказывания детей. Теперь сакраментальный вопрос, только ли люди могут говорить человеческим языком, должен быть осмыслен количественно: в каком объеме, насколько быстро или в какой степени это могут делать другие?»⁷⁵.

— Конечно, биологи, обучив шимпанзе общаться жестами, совершили нечто паразитическое. Мне, как лингвисту, кажется, однако, что важнее всего понять то в человеческом языке, что осталось недоступным для шимпанзе, чего они освоить не смогли, чем их речь все же отличается от языка. Мы и начинали наш разговор о животных, предполагая наметить этапы становления языка. Ведь хотя и с некоторыми оговорками, но можно показать: отличия — это как раз то, что должно было появиться в процессе формирования языка. Ты же согласишься, к примеру, с тем, что человеческие языки не ограничиваются сотней слов, в отличие от языка Уошо?

— Конечно. Есть и другие отличия, много более существенные. Я назову самые главные.

В возрасте от полутора до четырех лет ребенок, слыша окружающих и обучаясь говорить, учится строить высказывания все более сложные. При этом он каждый раз *перестраивает* «принципы организации» собственной речи. Такие структурные перестройки у обезьян не отмечены. Шимпанзе лишь дополняют и усложняют те образцы речи, которым они обучились раньше. Граматику высказываний они не перестраивают.

Шимпанзе не способны перестраивать свои высказывания, сказать их по-другому, а могут только добавить лишний жест.

Это обнаружили и тщательно изучили Дж. Броновски и У. Беллуджи⁷⁶. Они сравнили речь Уошо и ребенка по пяти признакам.

1. Время, которое проходит между появлением стимула (желаемого предмета или действия) и высказыванием, которое он вызвал.

2. Отделение способа проявления эмоции от характера стимула. Так, человек кричит «Ой!» одинаково — и когда видит змею, и когда ему наступили на ногу. А если крикнуть «Змея!», понятен и стимул.

3. Расширение сферы того, о чем может идти речь путем включения в нее прошлых и будущих событий. Сразу отмечу, что эти три признака позволяют оценить степень произвольности высказываний.

4. Превращение языка в своеобразную игру: конструирование высказываний как бы на будущее. Способность играть в нее означает умение представлять действительность в речи. Ребенок в возрасте от двух до трех лет, оставаясь один, произносит предложения на разные лады, свободно меняя их синтаксическую структуру. Он как бы рассматривает со стороны свою способность

строить предложения. Ученые назвали это «интернализацией» языка⁷⁷.

5. Переорганизация ситуаций посредством анализа и синтеза. Допустим, воспитатель стоит рядом со столом, на котором лежит несколько бананов. Один из них спелый, остальные — зеленые. Анализ ситуации может дать понятия «я», «банан». Синтез — высказывание «Хочу банан». Более детальный анализ даст, скажем, «стол», «банан», «я», «воспитатель». Синтез — «Дай мне банан со стола» или «Я вижу на столе банан и хочу, чтобы ты мне дал его». Ситуацию можно анализировать еще более подробно, соответственно изменятся и синтетические высказывания.

Первые четыре — признаки поведения, а последний — логического мышления. По первым шимпанзе и ребенок близки и различаются чисто количественно. У Уошо наблюдалось даже интернализация: она иногда поправляла себя, а иногда «разговаривала перед зеркалом или сама с собой в постели во время отдыха». А пятый признак, как утверждают Броновски и Беллуджи, у Уошо совершенно отсутствует.

По предложениям, которые дети говорят в три года, ясно видно, что они понимают значение порядка слов. А Уошо использует слова без всякого порядка. Гарднеры и Р. Футс возражают против этого, но их аргументы не слишком убедительны. Трехлетние дети произносят не только команды, но и отрицательные предложения, задают бесчисленное количество вопросов. Уошо же, хотя и научилась отвечать на вопросы типа «Чего ты хочешь?», «Что это?», «Где Сюзи?», ни разу не задала вопроса, ни разу не построила отрицательного предложения.

Ребенок в этом возрасте уже понимает, как соподчиняются слова, в его предложениях слова комбинируются по строгим правилам, которые включают иерархию частей предложения. Причем до сих пор остается загадкой, как дети выводят эти правила из слышимых высказываний взрослых, кстати далеко не всегда правильно построенных, особенно в разговорной речи. А выведя общие правила, дети начинают активно их применять. Отсюда появляются формы, которые не могли быть услышаны, вроде «уколоть» (вместо «уколоть»), «плохее» (вместо «хуже») и т. п.

Ученые делают вывод: «Мы видим, что маленькие дети, чьи умственные способности во многих отношениях ограничены, демонстрируют замечательное умение воссоздавать язык, который они слышат, сообра-

зуюсь с опытом, приобретаемым ими во взаимодействии с физической средой; это умение, как и соответствующие способности, не являются собственно языковыми, но являются выражением более общей человеческой способности индуктивно создавать стандартные правила»⁷⁸.

Иначе говоря, важна не просто способность выучить имена, а способность выявить то, что повторяется, расчленить новые высказывания на составные части и связать их с элементами ситуации. И наконец, создать свои предложения. Мы видим у ребенка пробуждение духа — он неосознанно открывает правила, образующие грамматику языка, структуру окружающего мира, связи между миром и языком. Я уже не говорю о том, что он начинает контролировать свое произношение и т. д. Лишь освоив все это, ребенок и становится так называемой «языковой личностью», Человеком Говорящим.

Подумать только, что все это совершенно не замечается! И люди думают, что говорить — так же естественно, как дышать или плакать. Мой любимый Э. Леннеберг прекрасно сказал, что ощутить язык так же трудно, как почувствовать движение планеты у себя под ногами.

Посмотрите, как язык раскрывается перед нами! Сначала его представляли как говорение, потом еще и как слушание, затем и как слышание самого себя... И теперь сложность языка может быть отражена лишь таким вот высказыванием: «Способности, лежащие в основе языкового общения, — это способности к согласованной деятельности, а она невозможна без такой сети взаимодействующих механизмов, где работа одного механизма определяет работу других»⁷⁹.

— Научиться языку — это не просто научиться называть определенные вещи определенными звуками. Это — *выбрать принципы взаимодействия с миром*. Когда ребенок на вопрос, что такое «яма», отвечает: «Яма — это копать», он видит *не просто яму вообще, а целую систему отношений* «человек — земля — лопата — рытье...». Следовательно, чтобы двигаться к истокам языка, нужно еще быстрее двигаться вглубь языка. Если же считать, что язык — нечто очевидное, мы и будем довольствоваться нехитрыми сказками на заданную тему. Язык обманывает нас. Он прычет за четы-

ре буквы своего названия тончайшую и сложнейшую организацию множества явлений и процессов.

— Да. Все, что я говорил сейчас о языке ребенка, определяется логикой его поведения и определяет ее. Язык во многом формируется вне связи со звуковым общением. Не случайно для его усвоения требуются и многие другие способности. Возникает вопрос: как складываются эти способности в человеческой истории? Ответ, пожалуй, может быть только один — в процессе производства и использования орудий первобытным человеком. Насколько известно, все другие формы жизни у него и животных совпадают. Значит, именно орудийная деятельность стала основой формирования логической способности, той, которой не оказалось у шимпанзе. Но как же все это связано? Может быть, философ рискнет высказать гипотезу?

— Попробую.

Звуковое общение эволюционирует по своим законам: растет число плавных сигналов, их разнообразие и т. д. В процессе общения возникает и развивается способность контролировать свое произношение, все более тонко реагировать на шумы окружающей среды. Параллельно совершенствуется работа с помощью орудий — их собственное производство, постройка навесов, заслонов, охота... Как и всякая деятельность, она сопровождается звуками, которые варьируются, применяясь к ситуациям и состояниям.

Вместе с тем в процессе культурного наследования все большую роль начинают играть дискретные единицы — идеальные образы целей, в частности промежуточных этапов производства того или иного орудия, обработки материалов, постройки сооружений. Специфика этих образов в том, что они формируются как особый класс состояний человека. Состояний и связанных, и противопоставленных друг другу внешним образом. Они сопровождаются звуковыми реакциями и оказывают на них обратное влияние — делают эти реакции дискретными. Причем звуки сами по себе и образы сами по себе продолжают жить своей жизнью. И получается, что *слова, у которых четкое звучание выражает четкое значение — результат, а не начало эволюции языка*. Не предметы внешнего мира обозначал наш предок, а дискретные образы, рождавшиеся в процессе работы с ними.

— Мне кажется, в этой гипотезе много неопределенного. Чтобы ее подкрепить, нужны соответствующие данные археологии и антропологии.

— Конечно. Но сначала, я думаю, нужно вернуться к вопросу, на который ты так и не ответил: кто же прав в историческом споре о месте человека в фауне?

— А я не уверен, что этот спор может завершиться чьей-либо победой. Во-первых, потому, что существование двух противопоставленных друг другу позиций — мощный двигатель исследований. Во-вторых, я считаю, что спор такого рода в принципе не может разрешиться. Он просто перейдет в какую-то другую плоскость.

Есть победы и поражения у сторонников той и другой позиции. Те, кто отстаивает честь наших меньших братьев, доказали, что системы общения животных очень сложны. Что их содержание не исчерпывается инстинктивными реакциями. Что они выполняют многообразные функции. И что обезьяны даже могут до известной степени овладеть языком. Напротив, их оппоненты убедительно показали, насколько непросто язык, и что недопустимо сводить его к элементарным актам звукового обозначения предметов... А поскольку представление о языке неизбежно будет усложняться, спор продолжится на новом уровне.

Я лично уверен, что язык — это качественно новое явление, наиболее ярко воплотившее в себе переход от биосферы к ноосфере. Говоря «высоким штилем», если производство орудий — мост между ними, то язык — это песня, которая вдохновляла переходивших его.

— Но ведь ты противоречишь сам себе. Сначала сказал, что вопрос неразрешим, а потом заговорил о качественной разнице, т. е. определенно занял позицию Декарта.

— Ты верно понял: я в сомнениях. Но и при этом попадаю в хорошую философскую компанию — Платон и тот не всегда считал возможным и, главное, — необходимым заканчивать обсуждение вопроса определенной нотой, и в этом есть своя мудрость. Давайте последуем ей.



Глава четвертая

Из фауны в культуру

(Рассказ антрополога)

*Нерасторопна черепаха-лира,
Едва-едва беспалая ползет,
Лежит себе на солнышке Эпира,
Тихонько грея золотой живот.*

О. Мандельштам

*Все прочее уже баснословно: у геллузиес
и оксионов головы и лица будто бы че-
ловеческие, туловища и конечности — как
у зверей; и так как ничего более досто-
верного я не знаю, пусть это останется
не решенным и мною.*

К. Тацит

— Только в начале XIX века начинает осознаться тот простой факт, что возраст человека простирается за пределы исторических преданий, что он превышает даже те шесть-семь тысяч лет, которые обычно отводились на сотворение и последующее — как безгрешное, так и греховное — существование мира. Иначе говоря, еще семь поколений назад здравый смысл полагал историческое пространство человечества если и не очень уютным, то камерным, вполне обозримым.

И вот это пространство начинает катастрофически расширяться и границы его теряются в сотнях тысячелетий и миллионах лет. Однако тот ураган, который выплеснул нас в эти просторы, не смог поколебать метафизиков, пошатнуть их здравый смысл. Они продолжали колдовать над старыми схемами: «Насколько бы ни был дикарем первобытный человек, все же он имел некоторые орудия для охоты за зверями и для ловли рыбы. Все человеческие существа имели хоть какую-либо одежду и домашнюю утварь, хотя бы раковину для черпания воды, инструмент для рубки дерева, нож для разрезания мяса и тяжеловесный камень для раздробления костей животных, служащих им пищей. Никогда человек не жил без какого-либо оружия»¹. Все это можно было написать, только подразумевая, что человек всегда был подобен европейцу XIX века. Запомним это, а пока — этюд из истории идей.

Два тысячелетия господствовала идея «природного состояния» человека. Диодор Сицилийский вслед за Демокритом и Эпикуром писал в I веке до н. э.: «Что же касается первобытных людей, то о них говорят, что они вели беспорядочный и звероподобный образ жизни. Действуя [каждый сам по себе] в одиночку, они выходили на поиски пищи и добывали себе наиболее годную траву и дикорастущие плоды деревьев. Так как на них нападали звери, то они стали научиться взаимно помогать друг другу благодаря пользе, [приносимой совместными действиями]...»²

Предполагалось, что вне общества человек — сын природы, поведение его естественно, не запятнано цивилизацией. Объединение людей в сообщества, группы изменило их натуру. Споры шли о том, каким было это изменение — благотворным или губительным. Так, позже для Гоббса природное состояние — это «война всех против всех», и тогда цивилизация — благо. А для Руссо цивилизация — воплощение зла. Он даже считал, что лиссабонское землетрясение — справедливая кара за переселение людей из лесов и пещер в многоэтажные города.

По логике сторонников идеи природного состояния, происхождение языка — простое следствие объединения людей. «Собираясь же вместе вследствие страха, — продолжает Диодор, — они мало-помалу стали познавать знаки, [подаваемые ими] друг другу... И тогда как [вна-

чале] голос их был бессмысленным и нечленораздельным, постепенно они стали говорить членораздельно и в общении друг с другом стали устанавливать [словесные] символы относительно каждой из вещей, [и таким образом] они создали самим себе привычную речь обо всем [существующем]»³.

— Стой-ка, да ведь эту картину мы уже видели.

— Совершенно верно. Диодор развивает идеи атомистов. Но мне важно другое — за словами Диодора кроется убеждение: нет языка без общества и нет общества без языка. Если первое справедливо, то второе сомнительно. Дело в том, что любой способ общения можно отождествить с языком, но мы уже выяснили: язык — форма общения особая, и его сравнение с муравьиными, пчелиными и собачьими сигналами неизбежно будет очень поверхностным.

И еще один довод: люди были общественными существами *всегда!* «Природного состояния» как такового быть не могло, и искать причины возникновения языка нужно не в объединении людей, а в чем-то другом.

Но даже когда стало ясно, что и египтяне отнюдь не самый древний народ на земле, образ жизни наших предков продолжали описывать не по ископаемым остаткам, а под диктовку здравого смысла. А он подсказывал: «...человек почувствовал необходимость вооружиться против нападения хищных зверей; и, с другой стороны, ему захотелось сделать своей добычей мирных животных, оленя, лошадь и мелких животных. Тогда он начал производить оружие».

На поверхности земли человек заметил кремневые камни с острыми краями. Он поднял эти камни и с помощью других, более твердых, отбил от них осколки, которым и придал грубую форму топора или молотка. Эти обточенные осколки он вделал в расщепленные палки и укрепил их животными сухожилиями или высушенными стеблями растений. С этим оружием в руках он мог издали поражать свою жертву. А когда он изобрел лук и стал вытачивать из камня острия стрел, то он уже мог поражать обратившихся в бегство самых быстрых зверей»⁴.

Словом, опять знакомая картина — человек бродил-бродил по земле, а потом решил, что надо бы от хищников защититься да неплохо бы оленины отвесть...

Все это можно написать только в одном случае — если цивилизованного человека поставить на место первобытного дикаря. Тогда, конечно, многого, к чему он привык, будет ему не хватать. Конечно, зная, что такое топор или лук, он начнет их делать. Наши предки, согласно Фигье, должны были вести себя как герои романа Жюль Верна «Таинственный остров» — *обдуманно строить цивилизацию*. (Еще хорошо, что Фигье о телевизоре не знал, иначе у его дикаря появилась бы потребность и в нем.)

Фигье просто не поверил бы, что между первым обточенным камнем и каменным топором прошло около двух миллионов лет, как не мог задать себе вопрос: откуда взялась у дикаря потребность в сосудах для питья? Ведь эта потребность так естественна!

И последнее. Обычно забывается, что всякие новые приобретения — топор или покрытая шкурами хижина — не могут сразу войти в быт, не меня сложившийся уклад. Их преимущество очевидно, когда они уже есть, а не когда их еще нет. Предки наши были очень консервативны: они просто не могли сознательно *улучшать свою жизнь*, хотеть чего-то новенького. Этому они научились совсем недавно.

Поэтому лишь как пародия может восприниматься сценка из жизни дикарей, нарисованная замечательным немецким ученым А. Куном: «...один человек вдруг замечает, к своему безмерному удивлению, что из вершины дерева, стоящего одиноко и потому особенно сильно раскачиваемого ветром, поднимаются облачка дыма; они становятся все гуще и гуще, пока наконец не вспыхивает веселое яркое пламя. Люди стоят в раздумьи; так и видишь, как эти бравые охотники первобытной эпохи прикладывают палец к носу; глубокая серьезность написана на их глубокомысленных лбах. Наконец лицо вождя озаряется яркой улыбкой просветления — он нашел решение загадки. „Разве вы не видели“, — обращается он с широким вопрошающим жестом к своим спутникам, привыкшим всегда и всюду с почтительным изумлением взирать на своего вождя, — „разве вы не видели, как там вверху, прежде чем кроваво-красный дух выскочил из дерева, ветки терлись одна о другую? Из трения возникает теплота, а там, где тепло, в конце концов появляется и огонь; то, что вы видите наверху — и есть огонь“»⁵.

Однако основанная на таких догадках теория становления цивилизации прославила автора.

— Пока я не очень понимаю, к чему ты клонишь.

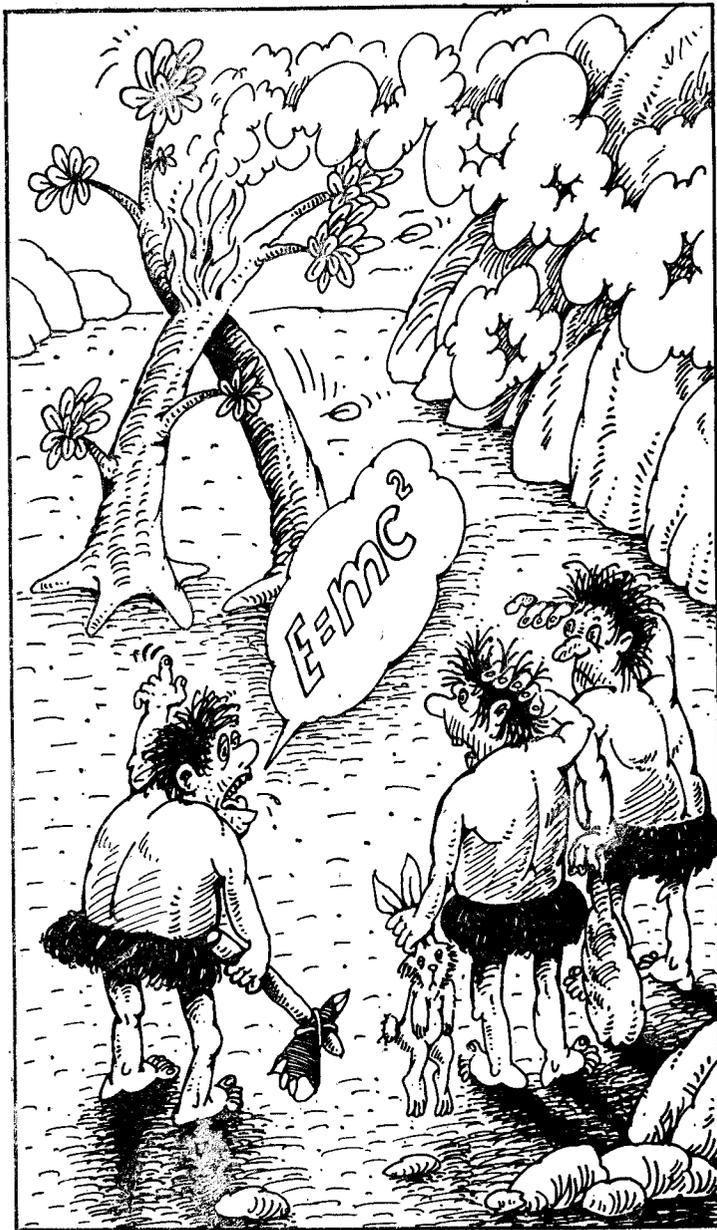
— Да к тому, что резко изменились наши представления о проблеме границы, разделяющей человека и животных. Когда-то говорили, что только человек имеет язык и ведает добро и зло, использует орудия, огонь, может молиться богу. Так, К. Вейлэ рассматривает три отличительных признака человека — речь, орудия и огонь — и доказывает, что историю нужно отсчитывать с приручения огня⁶.

Попутно покажу, как Вейлэ сопоставляет человека и животных по языку (это очень типичное рассуждение для конца XIX — начала XX века): «...элементарные зачатки речи существуют, как известно, и у высших животных; Мюллер-Ляйер в своей превосходной книге „Фазы культуры“ насчитывает у кур и голубей по 12 различных звуков; у собак их будто бы 15, у рогатого скота — 22, в то время как разговорный запас простолюдина обнимает около 300 слов... Таким образом, различие между человеком и животным оказывается совсем не столь громадным, как мы обыкновенно предполагаем. По существу, здесь и вовсе не было бы различия, если бы человек не воспитал в себе способности, которая совершенно отсутствует у животного: эта присущая исключительно человеку способность заключается в умении переходить от конкретных представлений и образов воспоминания к сопоставлению понятий и оперированию ими». Отсюда, между прочим, следует, что язык становится показателем нашего сходства с животными лишь в том случае, если он оторван от мышления и превращен в набор звуков.

И только Маркс и Энгельс провозгласили, что общественное человека делает общественным человеком его искусство изготовлять орудия и пользоваться ими. *Только в производстве орудий сливаются воедино культурное наследование, разум и средства общения.*

— С этим ясно. А теперь скажи, как изучали первобытного человека?

— Ну, сначала, помните, как кому подсказывал здравый смысл. Затем стали изучать племена, находящиеся на сравнительно ранних ступенях общественного развития, — австралийцев, веддов, готтентотов. (Кстати, для исследования происхождения языка этот подход практически не годится, так как на земле не сохранилось человеческих существ, у которых отсутствовал бы развитый язык. Если найдут снежного че-



ловека — положение, может быть, изменится.) Позднее ученые осознали, что между пралюдьми и самыми «примитивными» из наших современников лежит пропасть. Поэтому в ход пошли сопоставления с общественными животными, и в первую очередь — с обезьянами и волками, а также прямые реконструкции древнего образа жизни по ископаемым остаткам.

В мастерской предков

Когда человеку предстоит воскреснуть из мертвых, время и место ему безразличны.

Г. Торо

— Начнем ab ovo. Известно, что древнейшие предки приматов, которые жили примерно 55—65 миллионов лет назад, были наземными животными. Эти мелкие насекомоядные зверюшки начали лазить по деревьям только потому, что их со всех сторон теснили джунгли. Постепенно они обжились в кронах деревьев, освоили разные виды перемещения — одни научились бегать по веткам, другие — перепрыгивать с ветки на ветку, раскачиваясь на руках... Древесный образ жизни первых приматов вызвал хорошо различимые изменения в строении их тела. В свою очередь, новое строение суставов позволило ловчее двигаться, а изменение лицевых костей сделало возможным стереоскопическое (пространственное) видение. «Глаза сместились ближе к переносице и оказались на одной горизонтальной оси. Но стремительнее всего развивался мозг. Его обонятельная область сократилась, и нюх значительно ослаб в пользу зрения; сильно увеличилось оба мозговых полушария. Одновременно увеличивались вместимость и выпуклость черепной коробки»⁸.

На деревьях приматы окрепли и подросли. (Хотя, конечно, не все: средний вес мышиноного микроцебуса — 60 г, а гориллы — 150—200 кг.)

Интересно, что около 20 млн лет назад человекообразных обезьян было гораздо больше, чем остальных, однако постепенно это соотношение изменилось в пользу низших обезьян. Вообще особенность приматов — сравнительно большой вес мозга. Х. Джерисон, который изучал эволюцию млекопитающих за 60 млн лет, показал, что последо-

вательное увеличение мозга было важным преимуществом многих (хотя и не всех) видов. Оно позволяло приспособливаться к окружающей среде, пластично менять образцы поведения. А в это время другие виды развивали зубы, когти и пр.

Видимо, 20 млн лет назад уже произошло разделение двух семейств приматов, претендующих на то, чтобы быть предками человека, — дриопитековых и рамапитековых. И те и другие уже много времени проводят на земле, а рамапитек становится едва ли не наземным животным (о чем говорят его останки, которые были найдены сначала в Индии, а потом в Восточной Африке).

С генеалогией рамапитека вообще-то много неясного. Так, некоторые ученые считают, что рамапитек был прямым потомком дриопитека, а вовсе не его братом. Выяснить это важно для уточнения того, в каких отношениях находимся мы к современным человекообразным обезьянам. Один из крупнейших специалистов по нашему обезьяньему прошлому Д. Пилбим полагает, что шимпанзе, горилла, орангутан происходят от дриопитека, а известный археолог Дж. Кларк доказывает, что они — прямые наследники рамапитека⁹. Похоже, наши непосредственные и двоюродные предки вынуждены были все больше времени проводить на земле из-за того, что 10—15 млн лет назад джунгли с изменением климата начали уступать место саваннам.

Итак, человек происходит от мелких насекомоядных хищников, которые не утратив своих инстинктов, приспособились к жизни на деревьях, а потом, пополнив свое ежедневное меню плодами и листьями, спустились на землю. Кроме того, у наших предков происходят важные физиологические изменения, вызванные переходом от ночного образа жизни к дневному¹⁰. Таким образом, наконец, уже 20 млн лет назад появились приматы, в образе жизни которых сочетались противоречивые признаки: они передвигались на руках в кронах деревьев и ходили на двух ногах по саванне, собирали плоды и гусениц и охотились на мелких животных¹¹. Словом, все этапы эволюции приматов отразились в их строении и образе жизни.

— Каким же был наш пращур?

— Я процитирую Пилбима: «*Ramapithecus* — очень небольшое существо, величиной с собаку средних раз-

меров, весом 12—15 кг. Насколько сейчас можно судить, это было не двуногое, а проворное четверногое животное, быть может одинаково приспособленное к жизни как на земле, так и на деревьях... Я думаю, что оно легко и часто взбиралось на деревья, чтобы поспать, отдохнуть, поиграть, пообщаться с сородичами, укрыться от врагов и даже покормиться там. Однако рамапитек использовал и открытые пространства — лесные поляны или опушку леса. Здесь он собирал грубую растительную пищу, а иногда, возможно, ловил небольшую добычу. Передвигаясь по земле, он, наверное, нередко вставал на задние ноги, как это делают небольшие современные обезьяны, особенно если ему нужно было что-то перенести... Орудиями рамапитек пользовался, вероятно, не больше, чем шимпанзе.

Это существо не похоже ни на одно из тех, что живут сейчас, жили до него или после. Если это не древнейший гоминид, то, скорее всего, нечто сходное с ним. Став полностью прямоходящим, он легко мог превратиться в австралопитека»¹².

Как он общался, можно только предполагать. Видимо, он обходился звуками, подобными звукам шимпанзе, поскольку был похож на шимпанзе по образу жизни. Если это так, он обладал развитой системой варьировавшихся плавных сигналов.

Миповав около 4—5 млн лет, мы оказываемся у истоков рода человеческого. Ископаемые останки рамапитека приводят нас к рубежу в 10 млн лет, за которым следует пробел в 5—6 млн лет. И тут мы встречаемся с Люси — австралопитеком афарским — маленьким всеядным существом, твердо стоящим на ногах. Рост ее — около 105 см, вес — примерно 27 кг. Открывшие ее Д. Джохансон и Т. Уайт считают, что именно такое существо стало родоначальником двух родов приматов — австралопитеков и людей.

После еще одного пробела в миллион лет обнаруживаются сначала австралопитеки африканские, а потом уже — представители рода людей. Традиционно считается, что важнейшим фактором становления человека было прямохождение. Однако почему предки человека встали на две ноги, совершенно непонятно. Думаю, это вызвано множеством причин. Наш выдающийся антрополог В. В. Бунак выделяет, к примеру, три: «1) всеядность, 2) необходимость расширения

кругозора — зрительной ориентировки и 3) использование внешних предметов для добывания пищи»¹³. Необходимо добавить к ним по меньшей мере еще одну причину: американский ученый О. Лавджой считает, что приматы вынуждены были твердо встать на ноги из-за изменений в способе вынашивания и воспитания потомства¹⁴.

Длительное время считалось, что прямохождение и производство орудий развивались параллельно. Однако находки ископаемых гоминид, сделанные в 70-е гг. нашего столетия, неопровержимо доказывают, что мы ходим прямо уже 3,5—4 млн лет. Трудно найти что-нибудь более фантастическое в анналах археологии, чем открытая М. Лики в Летоли (Восточная Африка) цепочка следов двух австралопитеков — большого и маленького, — которые когда-то прошли пешком по африканскому пеплу. А простейшие каменные орудия начали делать, видимо, не раньше чем 2 млн лет назад. (Это, конечно, не исключает еще более раннего использования палок, булыжников, костей и т. п. Ими часто и довольно умело действуют современные обезьяны. Но объем мозга Люси и ее родственников (380—450 г) больше мозга современных шимпанзе на 50—60 г, так что палками и костями они уж наверняка орудовали.)

— Смотри, вот здесь нам может пригодиться знание тех биологических закономерностей, которые мы выявили, говоря о птицах. Ведь прямохождение резко изменило образ жизни приматов. Спустившись с деревьев, они стали обживать все большую территорию и часто расходиться на значительные расстояния. Значит, и способы их звукового общения должны были становиться все более многообразными. Могли появиться индивидуальные вариации инстинктивных криков, что позволяло им быстрее и точнее узнавать друг друга. Такое общение обогатилось и благодаря контролю за своим произношением и подражанию голосам сородичей. Уверен, что австралопитек афарский уже пробовал имитировать звуки, чего не могут современные человекообразные обезьяны. Ископаемые останки ничего об этом не говорят?

— Пока особо ничем не могу порадовать. Небо у человека высокое. Оно вмещает сравнительно толстый и подвижный язык. С помощью такого языка ему легко артикулировать звуки. А у Люси небо, без сомне-

ния, ближе к обезьяньему: оно низкое, плоское, и, значит, язык ее был тоньше и длиннее, он был похож на собачий¹⁵. А о чем-нибудь другом я вообще не могу ничего сказать.

— Н-да. Зато у тебя наверняка есть что сказать о твоей любимой прямой походке?

— Конечно! Ведь именно прямохождение выделяет человека из всех современных приматов, и очень соблазнительно вывести из него все остальные истинно человеческие качества, в том числе и способность говорить. Так и рассуждал, к примеру, французский антрополог А. Леруа-Гуран. Логика его примерно такова: прямохождение высвободило руку, которая поэтому стала не только хватать, но и выполнять самые различные действия, в том числе и с орудиями. Это, в свою очередь, развивает мозг. Изменяется посадка головы — раскрепощается нижняя челюсть: она становится менее массивной и более подвижной, значит, легче варьировать звуки. Меняется характер дыхания, что также стало предпосылкой речи. Но главное — развитие мозга. В нем ключ к тайне языка¹⁶. Зависимость развития голосового аппарата от прямохождения исследовал и В. В. Бунак. Важнейшими историческими процессами, которые отделили нас от обезьян, он считал опускание гортани, укорочение небной занавески, удлинение корня языка, утолщение голосовых связок¹⁷.

— Опять язык сведен к физиологии!

— Да, но просто я сейчас говорю о том, что можно хоть как-то ухватить. Сам материал вынуждает ученых ограничивать язык лишь тем, что можно пощупать.

Прямая походка, безусловно, определила изменения анатомии, физиологии и образа жизни. Но все же более разумно говорить о целой сети причин. Так, наш предок ел корнеплоды и мясо. Первые нужно было еще выкопать, а мясо добыть. Получается, всеядность определяет эволюционный отбор в пользу универсалов, а не только завязатых копальщиков или охотников. Кроме того, если прямохождение считать главным фактором, то непонятно, почему не научились совершенствовать простейшие орудия австралопитеки, несколько миллионов лет ходившие на двух ногах. (Рядом с их останками находят лишь рога и кости со следами сравнительно несложной обработки, а не специально обко-

лстые камни.) Каменные орудия всегда свидетельствуют о первом представителе рода человеческого — человеке умелом (*Homo habilis*).

— Значит, ты хочешь сказать, что становление человека слишком сложный процесс и его нельзя объяснить действием одного фактора? Будь это даже величина мозга или прямая походка?

— Вот именно. Иначе не понять некоторых вещей. Так, обнаружены существа, прогрессивные по одним признакам (если измерять прогресс близостью к современному человеку) и примитивные по другим. При определении их возраста оказывается, что у более поздних представителей этого вида некоторые прогрессивные признаки отсутствуют, хотя их количество, казалось бы, должно было только возрастать. И можно только улыбнуться, глядя на не очень давние картины — последовательное превращение сторбленного маленького обезьяноподобного существа в стройного современного человека.

Как, например, соотносить по этой логике австралопитеков — массивного и грацильного (более мелкого и стройного) — с человеком умелым? Походкой они примерно одинаковы. Объемом мозга массивный австралопитек превосходит грацильного примерно на сто граммов (530 г против 422 г¹⁸). По передним зубам к человеку ближе массивный, по коренным — грацильный. Кроме того, у массивного австралопитека из-за усиления мускулатуры нижней челюсти на голове вырос костный гребень. А поскольку такой гребень считался архаичным признаком, одно время проповедовалась гипотеза эволюции от массивного к грацильному австралопитеку. Сравнительно недавно выяснилось, что все наоборот. Кстати, если принять, что развитие звукового общения — прогресс, то появление массивного австралопитека после Люси и грацильного — нелепость. Дело в том, что увеличение веса нижней челюсти должно было стать преградой на пути развития все более тонкой артикуляции.

— Ну что ж, мы выяснили, что кроме самого общего представления о звуковом общении наших дочеловеческих предков, представления, основанного на аналогии с общением птиц и млекопитающих, у нас ничего нет. А в отношении наших человеческих предков тоже почти ничего не ясно?

— Ясного немного. Об их способностях приходится судить по очень скудным данным. И то лишь учитывая, что язык — это совместное действие многих механизмов. Работу некоторых мы можем проследить, да и то с большим трудом. Главная трудность в том, что линии эволюции видны очень пунктирно. Но посмотрим, что получается. Я буду теперь говорить только о роде Гомо. Напомню, что этот род включает: человека умелого, жившего 2—1,5 млн лет назад; человека прямоходящего (*Homo erectus*), жившего 1,5—0,5 млн лет назад; человека разумного (*Homo sapiens*), жившего после них (причем это не только человек современный, но и неандерталец и кое-кто еще). Давайте рассмотрим такие линии эволюции: использование орудий, принципы организации сообщества, развитие мозга и голосового аппарата. И все это, конечно, насколько возможно, в связи с языком.

Начну с орудий. Я согласен с Г. Айзеком: недостаточное развитие не означает недостатка способностей, но определенный уровень сложности должен отражать соответствующий уровень возможностей¹⁹.

Известно, что технология производства каменных орудий непрерывно усложнялась. А это возможно при выполнении по крайней мере двух условий: если изготовитель способен представить себе этапы производства, а значит, активно оперировать образами и если он способен добиться нужных форм — форм, которых требует данная культура. Вслед за Айзеком я буду говорить о четырех этапах истории орудий труда, охоты и войны.

Первый этап: 2,5—1,5 млн лет назад. Человек умелый делает простые инструменты двух типов — рубила и отщепы. Форма их определяется материалом, в основном используются подходящие камни. Чтобы их сделать, особого воображения не требуется: «Изготовитель... не руководствовался представлением о полиэдроне и камне с более протяженным острым краем, как и о значении частей орудия, удаляя участки, препятствующие выполнению определенной задачи, в порядке проб и зафиксированных приемов, возникших без контроля со стороны более сложных функций интеллекта»²⁰. Да, человек не воображал себе полиэдрон (многогранник), но даже эти нехитрые способы работы передавались явно не генетически.

Видимо, на эту культурную преемственность указывают особенности географического распространения древнейших рубил и отщепов. Рубила по большей части встречаются в Африке, Западной Европе и Индии; отщепы — в Восточной Европе и Юго-Восточной Азии.

Эту закономерность выявил Х. Мовиус. В нашей литературе ее существование вначале оспаривалось, однако в самых последних работах²¹ приводятся новые данные, подтверждающие правоту Мовиуса.

Кисть руки в это время еще недостаточно развита для тонкой работы²². Что-либо сказать о языке тех, кто производил эти орудия, мы не можем.

Второй этап: 1,5 млн — 200 тыс. лет назад. Человек прямоходящий делает почти такие же орудия. Но все-таки, хотя и очень медленно, формы рубил и отщепов меняются к лучшему. Большинство отщепов обрабатывается очень грубо. Вместе с тем появляется много новых видов орудий — сфероиды, скребла, сверла, скребки и др. Но их формы не устоялись, они не стандартны, между ними нельзя провести резких границ. Они почти не подвергаются, скажем, шлифовке, благодаря которой позднейшие каменные орудия кажутся столь совершенными. Появляются «отбойники» — камни, которыми били по другим камням; а также специальные камни — так называемые «наковальни». В общем, все говорит о примитивном, но налаженном производстве каменных орудий. Форма некоторых указывает, что «ремесленник» действует в соответствии с намеченным планом, что у него складываются представления о симметрии и регулярности. Айзек считает, что именно этот этап «должен считаться главной фазой формирования наиболее развитых способностей человека»²³.

Производство и использование орудий на этом этапе заставляют работать именно те группы мышц, особенно ручных, которые у человека наиболее развиты по сравнению с другими приматами²⁴. Но никаких следов употребления языка, разумеется косвенных, на протяжении этого периода нет. Можно, видимо, говорить о проявлении некоторых логических способностей. Без них было бы невозможным планирование многоэтапных действий, а такие действия несомненно совершались.

Третий этап: 200—40 тыс. лет назад. Орудия создает человек разумный, хотя и не во всем похожий на

того, который сейчас господствует на земле. Постепенно распространяется и совершенствуется новая техника изготовления каменных орудий. Рубила все чаще делаются не из цельных кусков, а из отщепов. Очень тщательно производится вторичная обработка — мелкими сколами и шлифовкой ремесленник добывается задуманной формы лезвия, да и всего орудия. Орудия становятся стандартными: «Возникает ряд четко разграниченных видов рубил — овальные, округлые, треугольные, копьевидные. Значительная часть таких усовершенствованных рубил... вероятно, закреплялась в деревянных рукоятках, а некоторые могли служить в конечниками охотничьего оружия — рогатин и копий»²⁵. Количество стадий производства сильно возрастает. Очень тщательно готовятся не только сами орудия, но и камни, от которых потом откалываются тонкие пластинки. Новая технология ставит изготовление орудий на поток — ученые находят запасы заготовок для орудий, причем стандартность этих заготовок говорит о «массовом серийном производстве» десятков видов орудий. Дерево уже обрабатывается с помощью огня.

Некоторые действия, которые мог выполнять человек, в принципе человекообразным обезьянам уже недоступны. Возьмем, к примеру метание копья. Оно возможно только при соответствующем развитии большого пальца. Если человек мог точно метать копье, значит, он был способен предельно сосредоточиться, уже имел отвечающие за это центры коры головного мозга, и рука его могла выполнять самые разнообразные действия²⁶. Антропологи обнаружили такие однородные деформации в строении кисти, которые могут объясняться только упорной работой с камнями.

— А что можно сказать о языке?

— Современный приверженец жестовой теории происхождения языка Г. Хьюз видит аналогию между рабочими программами производства стандартных орудий и синтаксическими структурами человеческого языка. И, я думаю, он прав.

— Теми структурами, которые отсутствуют в речи Уошо и ее собратьев?

— Вот именно. Хьюз считает, что сложные серии точно выполняемых ручных актов и речевых актов имеют, по сути дела, одно основание — способность

запомнить и координированно выполнить длинный ряд действий. Не случайно стандартные орудия возникают тогда же, когда появляется и физическая возможность произносить звуки, подобные нашим²⁷.

На этом этапе совершаются первые захоронения, первые ритуальные обряды, возможно и первые акты художественного творчества. И наконец, если в начале данного этапа мы имеем дело с новой техникой обработки камня, которая получила распространение в разных местах и в разное время, то к концу его сформировалось несколько типов культур. Они развиваются независимо друг от друга, и уже можно говорить об отчетливых культурных традициях.

— Ты сказал «ручные акты». Так, может, мы вернемся к жестовой теории, сейчас это будет кстати.

— Хорошо. Эта теория фактически сводится к двум положениям: жестовый язык предшествовал звуковому; звуковой язык появился как сопровождение жестов, но постепенно вытеснил их, сохранив лишь как нечто сопутствующее. (Что такое «язык», как правило, не обсуждается.) Мне кажется, эта теория вообще построена на недоразумении, хотя она и ведет свою историю еще с Эпикура.

Я думаю, защищать ее можно двумя серьезными аргументами. Первый: Уошо освоила один из вариантов языка жестов, но ни одна из обезьян не смогла освоить звуковой язык. Второй: у некоторых примитивных народов языки жестов очень развиты. С их помощью можно подолгу общаться и даже рассказывать длинные истории. Если спроецировать это на древних камнетесов, окажется, что они развивали язык, держа в руках свои рубила. Но я не думаю, что неандерталец натирал мозоли, жестикулируя орудиями труда.

И дело не в том, что звуковой язык экономичнее и позволяет общаться даже почью. Нет. Просто, если бы ручной язык достиг совершенства современного звукового, звуковой не потребовался бы. Лучшее — враг хорошего. А если ручной язык не был совершенен, не обладал, скажем, двойственностью, — это не язык и обсуждать здесь нечего.

— Это не самое убедительное возражение.

— Возможно, но не могу себе представить, чтобы последовательно были созданы две такие сложные и совершенные структуры.

— А что это за недоразумение, о котором ты сказал?

— Посудите сами. Если жесты производились беззвучно, то у них были те преимущества перед криками, о которых любят писать приверженцы данной теории, — жесты выразительнее, их далеко видно, они не пугают зверя... Но тогда не появился бы звуковой язык. Он не мог бы сопровождать жесты, так как при этом они теряли бы свои преимущества. Скорее всего, жестикуляция и голос развивались параллельно, но на каком-то этапе звуковой язык вырвался вперед. Именно звуки стали выражать те сложные структуры, о которых мы говорили. Жестовые системы североамериканских индейцев и ряда других народов, видимо, не изначальны, а возникли под влиянием звуковой речи.

— А как с обезьянами?

— Не знаю. Ситуация ведь здесь такая: шимпанзе *осваивают* очень совершенную языковую систему, где команды ситуативно ясны, слова имеют четкий смысл и пр. А в естественных условиях ничего похожего на амслен обезьяны *не создают*. Я думаю, все эти опыты скорее говорят о пластичности их психики, чем о способностях именно к языку. А теперь вернемся к языку звучащему.

Четвертый этап: 40 тысяч лет до нашей эры и позднее. Это уже время наших сравнительно близких предков. Они создают не только совершенные каменные орудия, но и скульптурки «венер», наскальные росписи, отлично обработанные инструменты из кости и т. д. Ряд ученых предполагает, что именно развитие языка позволяет объяснить скачок от третьего этапа к четвертому²⁸ (этот скачок называют «верхнепалеолитической революцией»).

Видимо, к началу этого этапа язык уже сформировался настолько, что занял прочное место в культуре. А учитывая ярко выраженные культурные традиции, идущие со второй половины третьего этапа, можно, пожалуй, говорить о разных национальных языках. В. П. Любин считает, что мир этого человека был, «по всей видимости, разделен на территориально обособленные, самостоятельные, устойчивые ячейки этносоциального развития, которые объединялись силой родства, языка, социально-экономических установлений, осознанием членами этноса своего группового единства и отличия от аналогичных общностей»²⁹. Если это

так, автоматически разрешаются споры лингвистов о поли-, моногенезе — произошли все языки мира от какого-то одного языка или от многих? Одною языку, очевидно, не было никогда. И тем более бессмысленно искать праязык где-нибудь в 10—20 тысячах лет от нас.

— Все это интересно, но несколько утомительно. Может быть, сказочник развлечет нас?

— Ну что ж, давайте послушаем былинку.

Былинка про то, как люди людьми становились³⁰

Человек тогда обезьяна обезьяной был. И жил в самой середине Африки. Там тепло, еды и питья вдоволь, живи — не хочу. Поедят еще-не-люди, под банановой пальмой лягут, руками-ногами о том о сем беседуют. И понемножку в людей превращаются.

Вот раз лежат они, разнежались — дремлют после сытного обеда. И тут один почувал, будто холодком потянуло. Поежился он, повертелся, подумал — растолкал которые рядом лежали и стал им махать — пойдём, дескать, посмотрим, откуда зябким тянет. Ну те — время все равно девать некуда — пошли.

Идут они, а погода все хуже да хуже. Дожди зарядили, а то и со снегом. Детишки бредут хмурые, сопливые, кашляют. Начали четверть-люди шкуры волков и антилоп на себя накидывать, из зайцев рукавички делать. Лучше стало. Удумали еще костры жечь. Дело полезное: погреться можно, шкурки свои и чужие просушить, кипяточком побаловаться. Лягут, бывало, вокруг костра, родную середину Африки вспоминают и беседуют руками-ногами о том, как день провели. А иногда плачут — и еще больше на людей смахивать начинают.

Вот как-то улеглись полулюди вокруг костра, беседа завелась, и, как на грех, пошел дождь проливной. Как быть? Поглядел один полумудь по сторонам и пещеру увидал. Сунулся он туда — пусто. Сметливый был полумудь: костер развел, шкур навалил на холодный пол. Забежали туда все и давай махать друг другу про разное и дальше в людей превращаться. Не тут-то было! Дым глаза ест, ног от рук не отличишь. А им уже без разговора невтерпеж...

Да еще пришлось охоту осваивать. Зверь рядом жил серьезный: носорог шерстистый, мамонт косматый, тигр саблезубый. В одиночку не возьмешь! И толпой ломить негоже. Тут с умом нужно. Днем полбеда — руками-ногами помахали, договорились, с разных сторон на бедолагу пошли, глядишь — свеженину жарят. А ночью, да в тумане? Как ни маши — все без толку.

Нужда и заставила в голос кричать. Конечно, десяток-другой крепких словец-ревков у них и раньше был. Но думали они, что ртом все равно столько не наговоришь, сколько руками-ногами — рот один, а тех... шибко много! Нужда заставила, принудила.

Когда кто тигра видел — кричал: «Ой! Ой! Ой!». Но кричал-то по-разному. Если зверь близко: «Ой! Оой! Оооой!» — и бежать. А если далеко: «Ой...ой... ай...» — и по делам пошел. Сто тыщ лет почти-человек покрикивал-поревкивал и выучился короче кричать. Тигра издали увидит — «Ойай!» кричит, а рядом — «Ойоой!». «Ой» значит «тигр», «ай» — «далеко», «оой» — «близко».

Дошло до него, что это хорошо. И в пещере, а особенно на охоте. Крикнет кто-нибудь с высокого холма: «Ой!». Все головами повертят и вопят: «Оой!». Разговор получается. И все без рук, без ног.

А у тех совсем-людей вожди бывали до того трусливые, что разного зверя по-разному пугались. По их «оям» можно было не то что зверя угадать и далеко ли он, но и другое разное. Люди ценили это, таким вождям побольше жен и мяса давали. И становился человек все голосистей.

Вот так, а теперь продолжайте.

С побирателями к труженикам

И в самом деле, если нет человека, который не предпочел бы смерть превращению в какое-либо животное, — даже если бы он при этом сохранил человеческий ум, — то насколько более жалок удел, сохраняя человеческий образ, быть в душе зверем!

Цицерон

— Первые робкие шаги культура сделала, видимо, между пятью и тремя миллионами лет назад. Поступь ее становилась все увереннее. Постепенно складывает-

ся собственно культурное поведение и оттесняется на второй план биология³¹. Я буду исходить из того, что уникальность человеческой культуры — результат действия уникального набора естественно-исторических факторов. (Данный постулат, в частности, отстаивает Эткин³².) А главное здесь то, что наши предки пережили экологическую революцию — перешли от древесного образа жизни и собирательства — вернее, побираательства — к охоте на открытой местности. Это вызвало перестройку их социальной организации. Надо учесть, что ранние гоминиды охотились гораздо искуснее современных приматов. Короче говоря, эволюция человека — это эволюция Человека Охотящегося, и можно показать, чем отличается стадо обезьян-побиравателей от стаи гоминид-охотников, сравнив, скажем, типы организации у обезьян и у волков (я имею в виду всех обезьян, а не только человекообразных). Первые — типичные древесные растительноядные существа, а вторые — типичные хищники.

Прямое сравнение, конечно даст немного. Хотя бы потому, что среди обезьян есть как индивидуалисты (орангутаны), так и парные семьи (у гиббонов), как стаи в 12—30 особей (у ревунов), так и группы в девяносто или даже несколько сотен голов (у павианов). Поэтому я буду говорить только о некоторых более-менее безусловных признаках, и только в интересующем нас плане.

Самка обезьяны обычно рождает одного детеныша, которого долго вынашивает, и который тем не менее рождается совершенно беспомощным. Поэтому мать постоянно занята то вынашиванием, то воспитанием. Активно охотиться ей попросту некогда. Живя на деревьях и питаясь листьями, она может выращивать дитя и без помощи супруга. С переходом же к наземной жизни самкам потребовалась помощь.

Самцы обезьян нередко враждуют из-за самок и довольно равнодушны к своему потомству. А с переходом к наземной жизни стали необходимы, во-первых, более спокойные взаимоотношения самцов (это наиболее естественно получается, когда живут устойчивыми парами, как волки) и, во-вторых, участие самцов в воспитании потомства — выкармливание детенышей, обучении их приемам охоты и т. д. Разделение обязанностей должно стать не столь резким.

Кроме того, вероятно, удлинился период возможных половых отношений. И образование парных «семей» становилось регулятором отношений между самцами.

Эткин считает, что жизнь в стабильных семьях и частые разлуки, обусловленные охотой, создают условия для передачи опыта (приобретенного в отсутствие партнера) с помощью знаков, символов. И такое же общение символами могло способствовать удачной охоте. Естественный отбор был на стороне тех, кто лучше пользуется символами и орудиями³³. Хотя это пока еще трудно доказать.

— Выходит, наши прародители уже давно жили парами?

— Ну, не совсем так. Во-первых, я говорю о тенденциях, а во-вторых, эти пары существовали только внутри более крупных групп, а не сами по себе.

— А как велась охота?

— Видимо, довольно многообразно. Судить об этом мы можем, например, по тому, что современные обезьяны охотятся по-разному. Так, один шимпанзе может гнать добычу на другого, находящегося как бы в засаде; несколько шимпанзе загоняют на дерево павиана, потом убивают его и поедают и т. д. (По наблюдениям Г. Телеки, шимпанзе охотятся удачно в сорока случаях из ста.) Причем мясо, в отличие от растений, съедается коллективно³⁴.

Но обезьяны все же едят мяса немного, так как охотятся на сравнительно небольших животных. Крупных убивать намного выгоднее. (Потому-то у современных охотников — например, аборигенов Восточного Конго — три четверти съеданного мяса — это мясо слонов, буйволов и бегемотов³⁵). По такому пути и пошли предки человека — они стали убивать все более крупных животных (и делали это с таким успехом, что, возможно, именно они оставили без еды саблезубого тигра, и он вымер). Серьезная охота закрепляла половое разделение труда, поскольку в охоте на мелких животных могли участвовать женщины и подростки, а крупного зверя сообща били мужчины.

По-разному охотятся и волки. Но не совсем так, как наши предки, которые даже загонную охоту строили, очевидно, по-другому. Это определялось разницей в способностях. Наш предок, видимо, лучше волка

реагировал на конкретную обстановку. (Л. Если показал, что для ориентации в кронах деревьев обезьяны должны обладать не только чувством пространства, но и чувством времени³⁶.) Это их качество и в саванне должно было сохраниться. Человек, в отличие от волков, мог использовать подсобные предметы — палки, камни и т. п. Зато он медленно передвигался, став двуногим, а не четвероруким.

— Четвероногим!

— А это все равно. У человека не было острых когтей и мощных зубов. Следовательно, он должен был чем-то это возместить — и начал делать орудия. Австралопитек пошел по другому пути — стал развивать мощные челюсти. И около одного миллиона лет назад вымер.

— Ты все говоришь об охоте. Но ведь тебе наверняка известно, что некоторые ученые (у нас — Б. Ф. Поршнев) считают, что предки, до того как они начали охотиться на крупных животных, долгое время питались падалью и потому зависели от крупных хищников. По-моему, это очень логично: сначала растительная пища (побирательство), потом растительная пища плюс падаль (побирательство при хищниках) и, наконец, мясо (охота и побирательство). Такое изменение жизни предков кажется мне более плавным и естественным.

— Но почему?

— Хотя бы потому, что после трапезы хищников остаются крупные кости и некоторые ценные части туши. Кости никого, кроме человека с его каменными орудиями, не могли интересовать. А в них оставалось много мозга: в костях некоторых больших травоядных животных — сотни килограммов. Значит, есть питательный продукт, который остается втуне (незанятая экологическая ниша), и необходимость регулярного использования орудий, чтобы разбивать кости. Так человек все больше привыкал к мясу и приучался следить за тем, что происходит вокруг. А когда со временем усовершенствовались орудия, он смог и сам охотиться на крупного зверя.

— Ты не оригинален. Действительно, еще лет десять-пятнадцать назад считалось, что нужно лишь уточнить детали этой картины. Однако в последнее время все большее число ученых склоняется к более

лестной для человека мысли, что уже более двух миллионов лет назад он уже был охотником. И вот какие приводятся аргументы. Во-первых, шимпанзе и другие обезьяны никогда не едят падали. Во-вторых, утренний поиск остатков животных, убитых ночью хищниками, наверняка давал бы слишком мало мяса. В-третьих, — и это, пожалуй, самое главное, — археологические находки дают прямые свидетельства того, что человек охотился. Он загонял крупных животных на вязкую болотную почву, где добывал их; отгонял от стада молодых или уже дряхлых и т. д. Кстати, и орудия могли совершенствоваться именно в процессе серьезной охоты. Так что я буду все же считать человека охотником и признаю, что вызванная к жизни охотой на крупного зверя организация существует у него не менее двух миллионов лет. Разумеется, человек не прекращал есть постное. Но *лишь охота* определяла характер эволюции.

Орудия олдувайской культуры — самой древней из известных каменных культур — «представляют собой... инвентарь, необходимый для того, чтобы обеспечить снабжение разнообразной растительной и животной пищей, которая доставлялась на базовую стоянку»³⁷. Можно уверенно утверждать: сама по себе охота в этот период была такой, что не требовала сколько-нибудь развитого языка. Зато его требовало существование базовых стоянок. Их появление, по мнению Дж. Кларка, «может быть объяснено продлением периода несамостоятельности молодых членов коллектива и большей их зависимостью от взрослых, что придает особое значение отношениям матери и ребенка. Исходя из сроков прорезывания зубов у австралопитековых эта зависимость длилась примерно столько же, сколько и у современного человека»³⁸. Следовательно, все большее значение приобретала передача культурных навыков. И конечно, передавались они *не словами*. Просто дети подражали родителям. Но и это заставляло разнообразить произношение и жестикуляцию. Хотя общение и разум еще, видимо, разобщены.

Уже в это время люди начинают осознанно делить пищу. Трудно сказать, как были организованы отдельные человеческие группы. Есть основания считать, что каждая группа была объединением двух-трех семей, а каждая семья включала мать с детьми и трех-четырех взрос-

лых самцов³⁹. Группы, по-видимому, были непостоянными, открытыми для чужаков.

— Объясни, почему ты придаешь такое значение передаче культурно приобретаемых признаков.

— Да потому что... как бы это сказать? А вот! Давайте представим себе, что вся наша культура — результат чисто генетического наследования. Что мы создаем ее, как пчелы — свои ульи, а бобры — плотины. Что писатели инстинктивно пишут книги, а мы их инстинктивно читаем. Что археологи рефлекторно воссоздают прошлое, а бюрократ с молоком матери воссоздал стереотипы своего поведения и пр. Я думаю, продолжать не надо? Ясно, что муравей строит свой муравейник не так, как архитектор — город. Самое гнусное градостроительство — не результат инстинктов, а результат следования плохим примерам. А это и есть культура! Особенность человека как вида в том, что генетически он меняется значительно медленнее, чем культурно. *Генетически передаются способности к жизни в культуре, к ее восприятию и воспроизведению.*

Язык — одно из наиболее разительных достижений культуры. Человек наследует от родителей *способность к овладению языком*, но русскому, английскому или маори он обучается, только осваивая культуру, причем как бы заново создавая для себя каждый язык.

Элементы культурного наследования есть у обезьян. Классический пример — как группа живущих на воле японских макак приучалась мыть сладкую картошку в соленой морской воде. Это начала делать одна из молодых обезьянок, а через несколько лет — большая часть стада. Тут культурная передача основана на способности действовать по образцу. С языком, конечно, сложнее. Здесь важна не просто способность воссоздать систему языка из отрывочных, часто грамматически неправильных предложений разговорной речи, а способность овладеть языком как системой. И ребенок выучивается создавать и правильно применять речевые высказывания.

Отсюда вывод: отбирались те признаки, которые обеспечивали культурное наследование.

Невозможно четко наметить этапы эволюции охоты. Я буду говорить поэтому только о некоторых тенденциях ее, в основном на втором этапе (1,5 млн — 200 тыс. лет назад).

Еще недавно считалось, что первая «каменная индустрия», как любят говорить археологи, была очень примитивной и однородной. Но я уже приводил кон-

цепцию Мовиуса. Более того, похоже, что большинство элементов культуры — орудия, стоянки, способы охоты и пр. — существовало уже на первых стадиях эволюции человека⁴⁰. На протяжении второго этапа в основном усвершенствовались то, что имелось и раньше.

Одну из тенденций я уже намечал — образование «мужских союзов» для охоты на крупного зверя. Видимо, мужчины нескольких групп вынуждены были регулярно объединяться для добычи мяса. Значит, наряду с внутригрупповыми способами общения, какая-то часть культурно наследуемых средств общения была общей для нескольких групп.

Аналог этого можно найти у североамериканских индейцев: не понимая звуковых языков друг друга, представители разных племен способны часами беседовать с помощью жестов.

Еще одна тенденция — расширение площади обитания. Самая скромная охота могла охватить территорию большую, чем те, на которых поколениями перемещаются стада обезьян. Сравните: стадо горилл живет на площади менее 15 кв. миль, тогда как охотники-бушмены кочуют по площади в 600 кв. миль. Из живущих на небольшой территории природа отбирает тех, кто легче и полнее других осваивает подручные ресурсы. А из живущих на больших территориях — тех, кто больше знает и запоминает: «На обширной и разнообразной территории собиратели получают больше знаний о флоре и фауне, о годовом цикле и разных ситуациях, возникающих при групповом передвижении»⁴¹. Долгое детство становится в этом смысле преимуществом: обучение охватывает несколько лет и события этих лет становятся частью индивидуального знания.

Высокая подвижность вынуждает переносить на дальние расстояния еду и питье. Без этого преимущество больших площадей теряется. «Переносить мямяса удобно, а вот изобретение специальных емкостей для овощей можно считать одним из наибольших достижений человеческой эволюции»⁴². (Забавно! Для Фитге корзина была чем-то настолько простым, что уж ее-то изобретение не требовало никаких усилий!)

Но за освоение больших территорий человек и платит довольно высокую цену: он теряет многие виды

пищи, перестает переносить болезни без того, чтобы за ним ухаживали (больные животные способны двигаться за стадом самостоятельно), и т. д. Вообще, трудно оценивать потери, тем более что мы привыкли считать лишь преимущества.

Большие пространства позволяют расширить круг употребляемых материалов, что особенно важно при производстве орудий. Производитель орудий относится к своей территории не так, как побиратель, поскольку он вынужден помнить местонахождение разных видов камней и деревьев. Образ жизни охотников и побирателей позволил им в конце концов, выражаясь сугубо научным языком, «занять максимум поверхности Земли при минимальной биологической адаптации к местным условиям».

Теперь несколько слов о семье. Исследователи первобытного общества сходятся в том, что человеческие группы были невелики — от 20 до 50 душ. Особенностью такой группы-семьи, в отличие от стада обезьян, было то, что мужчины взяли на себя часть ответственности за потомство. В таких сравнительно небольших группах велика была вероятность того, что в течение долгого времени рождались и выживали дети только одного пола. Это вело к межгрупповым бракам, что наряду с совместной охотой способствовало развитию общих средств общения.

— Значит, старые биологические способы общения должны были выступать в новом качестве? С их помощью стали планировать коллективную работу, передавать сообщения членам других групп. И ты считаешь, что новые функции постепенно превращали их в речь?

— Примерно так. Образ жизни в конце этого периода был, очевидно, сходным у всех человеческих групп. И, по всей вероятности, этот образ жизни включал язык, хотя еще и не очень развитый: «...исходя из увеличения объема мозга и овладения мастерством обработки камня техникой скола, а также на основе постоянно расширяющейся сферы деятельности человека, на которую указывают разнообразные компоненты орудий того времени, можно с уверенностью утверждать, что у человека существовала эта способность к общению»⁴³. Один из основных аргументов в пользу этого тезиса — *высокая степень стандартности орудий.*

Она требовала обучения и, видимо, зачатков речи. Сегодня невозможно сказать, означает ли увеличение количества предметов, с которыми человек трудится, что у него есть универсальный способ общения. (Во всяком случае, сам Кларк указывает на то, что существовавшие виды охоты не требовали звукового языка.)

Для третьего этапа характерна уже оседлая жизнь. «Сейчас можно с уверенностью говорить, — считает Г. П. Григорьев, — что мустьерцы не были бродячими охотниками и жили оседло, заселяя пещеры и спальные навесы. Иногда глиняное дно пещеры мостилось галькой, причем этот способ приспособления пещер для жилья известен с рисской эпохи... На равнинах мустьерцы сооружали жилища»⁴⁴. Если судить по размерам жилища, мустьерская община (неандертальцы) составляла не менее 15—20 человек, обитавших в одном круглом жилище. Для меня самое важное на этом этапе — регулярное использование огня и существование религии. Но по порядку. Сначала об огне: «На стоянках среднего и позднего ашеля следы огня распространяются широко, но только в самом конце позднего ашеля... и в мустьерскую эпоху можно констатировать повсеместное распространение огня. Это позволяет приурочить к позднему ашелю и к мустьерской эпохе выработку способов его искусственного добывания. Несомненно, освоение огня стимулировалось процессом похолодания»⁴⁵. Не случайно поэтому в Африке огонь был приручен позже, чем в других регионах мира. Но уже 60 тысяч лет назад и африканцы пользовались огнем постоянно. Одомашненный огонь дал начало новым видам работы, особенно с деревом. На огне стали готовить еду. В конечном счете огонь дал возможность побирателям перейти к оседлости.

— Так что его функция не в том, чтобы заставить людей собираться в кучки и объясняться руками, творя язык?

— Как видите. Но если использование огня несомненно, то с религиозными представлениями сложнее. Невозможно представить человеческие коллективы, которые, не обладая языком, думали бы о загробной жизни. А соответствующие ритуалы уже были. Хотя, конечно, связь религиозных представлений с языком далеко не проста.

Насчет того, когда появляется ритуал, существуют разные мнения. Наш крупный археолог П. И. Борисковский говорит о 400 тысячах лет⁴⁶. Дж. Кларк относит начало культовой обрядности ко времени человека разумного (неандертальца и «родезийского человека») — 200—150 тысяч лет назад⁴⁷. Мне больше импонирует мнение Кларка. В целом этот вопрос крайне важен, и я остановлюсь на нем подробнее.

Еще в 50-е и 60-е годы в нашей литературе шел спор о религиозности неандертальцев. То, что они хоронили усопших, все признавали. Но толковали эти факты совершенно по-разному. А. П. Окладников, опираясь на материалы 18 захоронений, утверждал, что они безусловно свидетельствуют о существовании ритуала, выражающего религиозно-магические представления⁴⁸. Его оппоненты — М. С. Плисецкий, С. А. Токарев и другие — видели в этом просто инстинктивные действия. Так, Токарев писал: «...два противоположных инстинкта — стремление избавиться от умершего и стремление сохранить его близко от себя, — свойственные многим животным, должны были существовать и на заре человеческой истории»⁴⁹. Еще резче и бездоказательнее высказывался А. Д. Сухов. Задав вопрос, обязательно ли захоронения связаны с какими-то религиозными представлениями, он отвечает: «Конечно, нет. Иначе всех людей, принимающих участие в похоронных процессиях, следовало бы считать верующими. Точно так же и неандертальские погребения не являются веским аргументом в пользу того, что неандертальцы имели какие-то религиозные взгляды.

По-видимому, и у неандертальцев захоронения во многом объясняются естественным стремлением избавиться от трупа, т. е. гигиеническими соображениями»⁵⁰.

Оценивать эту яркую аналогию я отказываюсь. Скажу только, что при таком «гигиеническом» подходе и факт существования языка у неандертальцев ставится под сомнение. На этих позициях стоял и Б. Ф. Поршнев, который был убежден, что сознание — и, следовательно, человек, и, следовательно, язык — не старше 40 тысяч лет: «Что касается закапывания неандертальцами трупов, то ряд авторов... довольно убедительно объяснили его без всякой религиозной мотивации и не апеллируя к речевой функции, чисто биологически побуждениями...»⁵¹

Однако, как показывают факты, — и это принципиально! — дело не ограничивается «закапыванием трупов» и мнение о религиозности неандертальцев несопоставимо лучше аргументировано, чем противоположное.

Действительно, я могу вообразить, как человек (точнее, еще «троглодит», «прачеловек»), заботясь о гигиене, оттаскивает труп сородича в сторону и по-кошачьи закидывает его землей. Но когда он копает для этого яму, закрашивает дно ямы охрой, когда он окружает покойника несколькими парами козлиных рогов, когда он ориентирует труп по сторонам света и т. д. — какая же тут гигиена?! Приведу еще примеры.

В пещерах Драхенлох и Петерсгеле (Швейцария и Бавария) были найдены захоронения голов и лап пещерного медведя. Отдельные черепа были окружены камнями и обсыпаны углем. Кстати, у некоторых современных народов известны ритуалы, связанные с заботой о черепах и костях конечностей⁵². Точно известны произведения искусства, которым 30 тысяч лет, но уже в более ранний, мустьерский период появились кости с нарезками, плитка с крестообразным узором и некоторые другие художественно обработанные вещицы. Найдены куски охры, которыми пользовались как карандашами⁵³.

В одной из пещер сталагмит, по контурам напоминающий животное, служил мишенью во время своеобразной церемонии — его обстреливали глиняными шариками. Причем этот закоулок пещеры — жуткое, труднодоступное место — находится в 450 метрах от входа. В Монте-Цирцео (Италия) был обнаружен череп неандертальца, умершего 45 лет от роду от мощного удара по голове. В нижней части черепа тщательно выделано отверстие. Череп лежал на полу пещеры внутри круга, сложенного из камней. Возраст его — 55 тысяч лет⁵⁴.

Традиция захоронения отдельных частей скелета, в частности черепов с выломанными основаниями, распространена довольно широко и уходит в глубокую древность. Возможно, даже захватывает второй этап. Черепа несут следы ударов орудиями. Разрушение оснований черепов говорит о том, что мозг умершего съедали. Невозможно или, во всяком случае, очень трудно представить, что это делалось с голоду. Если

бы наши предки регулярно питались друг дружкой, они исчезли бы с лица земли в очень короткий срок⁵⁵. Да и этнография не дает соответствующих аналогий.

Скорее всего, — и это очень убедительно доказывает Ф. Росински, — перед нами ритуальное людоедство. Современные людоеды верят в то, что съевший кусок человечины наследует определенные качества убитого. Охота за головами и людоедство асмагов и маринд-аним тесно связаны с культом предков и космологией. Правда, данное сопоставление хромает из-за огромной разницы во времени, ведь эти обряды могли быть десять раз переосмыслены.

И еще одна деталь: многие поврежденные черепа — это черепа подростков. А по мнению современных каннибалов, такие юнцы еще не созрели для того, чтобы едок получил какую-то ощутимую пользу⁵⁶. Тем не менее трудно не посчитать повреждения и этих черепов ритуальным действием. А ритуалы невозможны без символов и абстрактных идей. И немисливо, чтобы их совершали безъязыкие существа.

— Но тут возникает масса вопросов. Какими нитями связаны представления о загробном мире с языком? Каким язык был в это время? Насколько общими могли быть значения слов и были ли слова? Какая система религиозных представлений в этих ритуалах выражена? Был ли это фетишизм, тотемизм или анимизм? Когда...

— Погоди-погоди! Сам понимаешь, я могу только развести руками. Конечно, все эти вопросы требуют ответа. За исключением, может быть, последнего. Сама-то по себе классификация первобытных верований, разумеется важна. Но она очень условна. Скорее всего, в тех ритуалах, о которых мы сейчас говорим, были и магия, и тотемизм и т. д.⁵⁷

А теперь я попрошу вас напрячь воображение. Представьте себе, что из одного города внезапно выехали все жители, забрав с собой книги и уничтожив все надписи. В остальном город остался совершенно таким же, каким был до их ухода. И вот вы попали в этот город. Гуляете по его паркам и площадям, заходите в дома, церкви, магазины. Ваша задача — описать язык, на котором говорило население города. В ваших руках любые средства.

— Интересно... Я могу попытаться установить культуру жителей и, определив ее, предположить, что они говорили на языке создателей этой культуры — на индийском, скажем — урду, персидском, или коптском.

— Хорошо, введу еще одно ограничение — похожей на эту культуры нет.

— Тогда не знаю. Я не вижу совершенно никаких путей. Это то же самое, что пытаться по различиям Кельнского собора и Парфенона выяснить разницу между немецким и греческим языками, — безнадежное дело.

— А вы думаете проще восстановить язык по медвежьему черепу, обсыпанному углем?

— Наверное, нет. Наверное, можно только пытаться установить, был ли вообще язык у тех, кто это делал.

— Да ведь и как связаны образ жизни и язык неизвестно. Мы только догадываемся, что относительно культурная жизнь была бы невозможна без языка. Но непонятно, что же должен найти археолог, чтобы сказать: «Здесь ступал говорящий!». Безусловный признак — только письменность, но она-то появляется около пяти тысяч лет назад. Считалось, что язык как-то связан с производством орудий. Но сейчас мы знаем, что первые изготовители орудий, судя по объему мозга и устройству речевого аппарата, говорить по-человечески были неспособны.

— Вот мы и нашли одну ниточку. Правда, чтобы ее проследить, нам придется пойти на кладбище, раскопать несколько могил и изучить анатомическое строение покойников. Мы не узнаем, конечно, какой именно был у них язык — испанский, хинди или чукотский, — но говорили они или нет, мы узнать сможем. Не так ли?

— Видимо, так, но не более достоверно, чем по образу жизни. На самом деле мы сумеем лишь определить, была ли у них способность к языку, и ничего больше.

К началу четвертого этапа эволюции человек заселил все природные зоны планеты, научился делать совершенные орудия из камня и кости, деревянные копы, копалки и пр. Он умело пользовался огнем и участвовал в ритуалах. В первые двадцать тысяч лет

этого этапа присошел ни с чем не сравнимый всплеск культуры.

Люди начинают покорять водную стихию (похоже, длительное время наши предки, как и современные человекообразные обезьяны, опасались воды: раскопки не дают никаких остатков рыб и водяных животных на стоянках человека). Появляются лодки. Охота ведется с помощью не только копий и рубил, но уже луков и стрел. Каменные топоры и ножи люди насаживают на деревянные рукоятки. Они начинают пользоваться жерновами (это стало важной предпосылкой земледелия). Люди строят дома и целые деревни. Приручают животных, и в первую очередь собак. Делают на скальных изображения, украшения и скульптуры. И все это — Его Величество Человек Говорящий. Возможно, именно развитый язык вызвал такой культурный рывок. Сошлюсь на Дж. Кларка: «Основные культурные достижения... — развитие знаний в области техники и искусства, в области украшений, живописи, на скальных изображений и музыки, развитие эстетических критериев и этических норм — настолько превосходят достижения прежних периодов, что не приходится сомневаться в обусловленности всех успехов Homo sapiens способностью говорить и обладанием развитой системой языкового общения.

Быстроту, с которой были вытеснены все более ранние сапиентные виды, легче объяснить, если принять предположение, что язык в том виде, в каком он нам известен, был присущ лишь человеку современного физического типа. Обладание речью дало человеку способность делать заключения, выделять и распознавать явления, а коллективу людей — средство стабилизации общества (необходимого условия для развития цивилизации по установившимся за тысячелетия путям)»⁵⁸. Я думаю, что это верно, хотя вывести язык из культуры мы в принципе неспособны.

И наконец, предполагается, что языки, бывшие в употреблении 30—40 тысяч лет назад, — это уже языки современного типа. Так, по одной из слишком смелых гипотез, все языки, на которых говорит сейчас население земного шара, произошли от одного, на котором говорили именно тогда⁵⁹.

И еще несколько шагов

Учить детей эмоционально откликаться на знакомый образ (зайчик). Подводить к устойчивому навыку чистого интонирования большой секунды.

Из пособия для воспитателя

А теперь еще раз пройдем по всем этапам и посмотрим, как развивались умственные способности и речь.

На первом этапе мозг наших предков, как и у австралопитеков и некоторых современных человекообразных обезьян, сравнительно невелик, в среднем 500—700 куб. см. На втором этапе объем мозга возрастает вдвое. И, что очень важно, увеличиваются именно те отделы мозга, которые у современного человека отвечают за использование языка. В конце второго этапа и на протяжении третьего увеличиваются зоны, которые контролируют восприятие смысловой звуковой речи, ритмы движения и т. д.

Однако само по себе увеличение объема мозга не означает приближения к человеку современного типа: «Речь требует деятельности нескольких отделов мозга, которые устанавливают связь между поступающей и хранящейся в памяти информацией и функцией головного аппарата. Для речи необходима, следовательно, совместная деятельность многих мозговых центров, и поэтому... нельзя судить о способности к речи на основании размеров какого-нибудь отдела или участка мозга по слепку внутренней полости черепа. Отсюда следует, в частности, что таким путем невозможно установить, были ли ископаемые гоминиды наделены речью»⁶⁰.

На третьем этапе у одного из видов неандертальцев объем мозга продолжал нарастать и достиг 1800 куб. см. И — парадокс: эти головастые неандертальцы вымерли. А победа в эволюции досталась тем, у кого емкость черепа сохранилась в пределах 1350—1550 куб. см⁶¹.

— Но зато, я думаю, справедливо обратное — если не было некоторых участков мозга, то не было и языка.

— Возможно. Важно еще и то, что речевые центры сосредоточились в основном в левом полушарии голов-

ного мозга. Левое полушарие в процессе эволюции специализировалось на управлении теми механизмами, которые легли в основу речи.

Я уже говорил, что восприятие речи — процесс очень непростой. Как люди умеют точно вычленять слова из потока речи? Да еще и речи, произносимой фальцетом, лирическим баритоном или грубым басом? Произносимой четко, косноязычно или даже шепотом? Как люди узнают одни и те же звуки в разных сочетаниях? Ведь звуки под влиянием соседних звуков очень сильно меняются, да и звучат они скорее одновременно, чем последовательно.

Это возможно только потому, что мы слышим не то, что собеседник нам говорит, а то, что он *хочет сказать*. Слушая, мы незаметно для себя успеваем уловить алгоритм, которым управляются мышцы гортани, губ и языка нашего собеседника. (И делаем это с завидной скоростью: передаем и воспринимаем от 20 до 30 значимых сегментов речи в секунду⁶².) Иначе говоря, мы воспринимаем то, что лежит *за* самим *звуковым потоком*, — *план* его построения. Следовательно, восприятие речи — не восприятие звуков, а замысла некоторых очень тонких действий⁶³. Этому наш предок мог научиться *только в процессе совместной координированной деятельности*.

О степени развития речи можно судить не только по слепкам полости черепа, но и по строению гортани и языка. Мягкие ткани, понятно, не сохраняются, а по скелету восстанавливать их трудно (тем более что основание черепа часто выламывалось), хотя и можно, если иметь хорошо сохранившиеся черепа в комплекте с нижними челюстями и шейными позвонками.

В общем виде ход развития аппарата речи был известен и раньше. Я уже говорил, как представлял его В. В. Бунак, который, в частности, обосновал идею, что неандерталец мог произносить гораздо меньше звуков, чем мы⁶⁴. Специалист по физиологии речи Ф. Либерман со своими сотрудниками установил, как же именно произносили звуки наши предки.

— Фантастика! И как же это ему удалось?

— Вначале он установил, что по отдельным частям скелета не понять, говорил его обладатель или нет. Обнаружилось, что даже у современных людей может не быть некоторых признаков, по отсутствию

которых раньше делали вывод о неразговорчивости ископаемых гоминид. Следовательно, нужно анализировать весь комплекс признаков. Сравнив классического неандертальца (известного по останкам из пещеры Ля-Шапелль-о-Сен) с современными европейцами — взрослым и новорожденным, — Ф. Либерман и Э. Крелин выявили интересное обстоятельство: по форме черепа и нижней челюсти, а также по ряду других важных признаков, новорожденный европеец ближе к неандертальцу, чем к нам. Исходя из этого, ученые воссоздали в модели мягкие ткани голосового тракта неандертальца и смогли с большой долей вероятности определить, как он говорил⁶⁵.

Оказалось, что «классические» неандертальцы — а они еще жили 20—30 тысяч лет назад, когда уже появились люди современного типа, — говорили много хуже людей. Они все произносили как бы в нос и не могли различать «д» и «н», «б» и «м», которые в их речи сливались. Из гласных у них не могло быть «а» и «о», но только более-менее чистое «э» и зачаточные «и» и «у». Из согласных им были доступны губные и зубные звуки — «д» и «б» (оба с проносом), «с», «з», «в», «ф» и некоторые другие. «К» и «г» они сказать не могли.

Правда, неизвестно, с какой скоростью неандерталец управлял своими нервными механизмами. Возможно, ее не хватало, чтобы произносить отчетливые звуковые сочетания и воспринимать их.

Словом, Либерман и Крелин пришли к выводу, что неандерталец к современным языкам не был способен вовсе. И в общем-то это не укладывалось бы в мою картину развития языка, если бы не одно интересное обстоятельство...

В пещере Схул на горе Кармел, в Израиле, было найдено несколько черепов. Анализ одного из них (Схул V, возраст 40—50 тысяч лет, объем около 1500 куб. см) показал, что основание его и форма нижней челюсти по существу не отличаются от современных. Следовательно, обладатель этого черепа мог бы свободно произносить все звуки современных языков.

Э. Крелин изучил два еще более ранних черепа, отличающихся от черепов классических неандертальцев. Один из них был найден в гравийном карьере

около Штейнгейма в Германии (возраст 250—400 тысяч лет, объем около 1150 куб. см), второй — неподалеку от Сванскомба в Англии (возраст 250—300 тысяч лет, объем около 1300 куб. см). Оказалось, что их голосовые тракты ближе к современным⁶⁶. Хотя точно описать, что могли произносить те, кому они принадлежали, пока нельзя.

Было найдено и промежуточное звено. Им оказался голосовой тракт «родезийского человека», останки которого были открыты в Брокен-Хилле в Восточной Африке (возраст примерно 100 тысяч лет, объем около 1300 куб. см). Он был способен произносить звуки, очень близкие к «и», «у» и «а», недоступные неандертальцам из Ля-Шапель-о-Сен. Правда, он не мог интонировать так свободно, как современный человек. Звуки его речи были неустойчивыми.

— Значит, сто тысяч лет назад жили люди, которые могли произносить человеческие звуки, а пятьдесят тысяч лет назад — те, у кого эти звуки стали уже устойчивыми? Наверное, в этом промежутке времени становится генетической способностью *по-человечески* распознавать звуки речи?

— Действительно, Либерман предполагает, что неандертальцы имели такие же познавательные способности, как и у людей с горы Кармел. Но недостаточное развитие голосового тракта не позволило им перейти к двойственному построению речи (о котором подробно говорил биолог). Они, вероятно, могли создавать и воспринимать синтаксические структуры, а построение и распознавание звуков затрудняло их. Напомню, что для этого нужно угадывать план построения.

— Я верно понял, что, по-твоему, синтаксис формируется раньше фонетики?

— Да, я думаю, что синтаксис возникает тогда же, когда появляются правильные стандартные орудия (250—300 тысяч лет назад), а фонетика — не раньше сотни тысяч лет назад. Она складывается как сопровождение действий, оформленных синтаксически.

— Это не слишком смелое предположение?

— Но и не бесосновательное. Аргументы перед вами.

Учтя результаты анализа голосового тракта, Либерман нарисовал древо эволюции. Получилось, что

где-то между 150 и 250 тысячами лет началось расхождение двух путей эволюции. Один привел к отчетливо говорящему человеку, а другой — к неандертальцу классического типа. По умственным способностям они, во всяком случае 50 тысяч лет назад, еще не слишком различались. У них были развиты культурные традиции, включавшие умелое производство орудий, ритуалы и т. д. И, по моей гипотезе, и те и другие могли оперировать сложными синтаксическими структурами.

Каждый путь давал свои преимущества. Скажем, классический неандерталец, развивший более крупные зубы и мощные челюсти, лучше пережевывал пищу и поэтому усваивал питательных веществ на 10% больше, чем его соперник по эволюции. Но все же выигрывал тот, кто совершенствовал звуковой язык. Все важнее становилась способность говорить быстро, легко использовать знаки и символы. Возрастало количество тем для разговоров. А огонь, режущие инструменты и жернова постепенно свели на нет преимущества хорошего пережевывания⁶⁷.

То, что такое раздвоение эволюции не могло произойти раньше чем 250 тысяч лет назад, подтверждается и данными расообразования. Современные народы, принадлежащие к разным расовым типам, имеют одинаково хорошие языковые способности. Следовательно, хотя бы зачатками этих способностей должны были обладать и их предки до начала разделения рас. Первый его период — это период раздвоения нашего родословного древа на западный и восточный стволы (западный включает европеоидов, негроидов и австралоидов, восточный — азиатских монголоидов и американоидов). И начинается он около 250 тысяч лет назад⁶⁸.

Вот теперь у меня все.

— Куда же мы пришли?

— Очевидно, туда, где перед нами встанут новые вопросы.

— Но ведь новые вопросы рождаются только там, где мы сумели увидеть что-то новое по сравнению с прежними путешественниками. Я думаю, философу в самый раз подвести итоги.

— Ну что ж, давайте я попробую объяснить, как мне видится проблема после нашей совместной прогулки.

Традиционное заключение

Только кончая задуманное
мы уясняем себе, с чего нам
его начать.

сочинение,
следовало

Паскаль

— Сначала об истории и подходах.

Во-первых, обнаружилось: повседневно и буднично обмениваясь связками слов, люди очень долго не замечали организующего их начала, того, что делает слова «именами» и «глаголами», «сказуемыми» и «определениями». И даже размышляя о появлении этой чудесной возможности, фактически долгое время обсуждали происхождение слов. Или *органов речи* (как в некоторых живучих мифах). Но традиционно считается, что уже в те давние времена говорили о происхождении языка. Таким образом, необходимо пытаться выяснить, какой объект подразумевается в тех или иных рассуждениях о возникновении языка.

Во-вторых, выяснилось, что греки, хотя и не знали язык как систему знаков и, написав грамматики, не заметили синтаксиса, но положили начало двум принципиально разным подходам к решению проблемы возникновения человеческого языка. Мы назвали их «направление Платона» и «направление Эпикура». Способ движения к истокам языка, предложенный Платоном, состоит в том, чтобы, исследуя язык как таковой, предполагать, как он складывался исторически. Эпикурейский способ — рисовать картинку предполагаемых истоков и доказывать: данный нам язык начался именно тогда, там и таким образом. Напрашивается тривиальное утверждение о необходимости гармоничного сочетания двух подходов. Но анализ показывает, что данному требованию отвечает лишь трудовая теория.

В-третьих, оказалось важнее рассматривать не картины рождения звуковой речи, написанные разными авторами — будь то монахи, лингвисты или естествоиспытатели, а то, что стоит за этими картинами, принципы их создания. Так, очень простая на первый взгляд теория божественного происхождения языка заставила богословов развести понятия языка и языковой способности (языковая способность божественна и универ-

сальна, а языки — сомнительные творения несовершенного человека). Напротив, теории естественного происхождения языка могли строиться на постулатах, подразумевавших более примитивную модель. Поэтому стала настоящей необходимостью пристально изучать культурный фон соответствующих концепций.

И наконец, хотя и позже, чем хотелось бы, да и не так громко, как следовало, прозвучала важная мысль: практически все известные теории происхождения языка исходят из того, что (1) существует некий исторический момент начала формирования языка (скажем, датируемый каким-нибудь оледенением); (2) язык рождался по мере роста количества простых и отчетливых звуковых единиц, обозначавших простые предметы или классы предметов. Эти положения удобны и на первый взгляд очевидны, но, похоже, неосмысленны. Они сомнительны уже хотя бы потому, что, как выяснилось, сам язык — это сложная система принципов отношения человека к своим собратьям и к природе. А языковая способность — способность обучаться языку и владеть им — это врожденная возможность координированной деятельности многих нейрофизиологических и психических механизмов. Как принципы, так и механизмы складывались в разное время, и совершенно неясно, от чего же вести отсчет. Кроме того, сомнения в правоте этих положений подогревались данными по звуковому общению птиц и приматов. Развитые системы такого общения включают в первую очередь плавные, а не дискретные сигналы.

И была предпринята попытка продвинуться к истокам языка, опираясь на тезисы, противоположные по содержанию: (1) момента начала формирования языка не было и быть не могло; (2) отчетливые обозначения простых классов предметов — результат языкового развития.

А теперь представим себе ученого, который добросовестно обобщил то, что мы увидели. Он бы нарисовал примерно такую картину:

«Очень давние предки человека жили стаями и пользовались богатым набором звуков. Звуки эти издавались инстинктивно, т. е. они вырывались чисто эмоционально и были стандартными. Надобности обучаться им не было: детеныш, подрастая, естественно начал „звучать“ как положено. Восприятие звуков тоже

определялось генетикой, а не культурой. Понятно, что ни необходимости, ни потребности слушать себя и пытаться подражать другим не было. Не было и таких способностей. Слух и произношение развивались независимо друг от друга.

Меняется образ жизни. Охотясь, члены стаи разбредаются на довольно значительные расстояния и поэтому в течение жизни знакомятся с большой территорией. Благодаря этому все тоньше варьируются произносимые звуки и растет число плавных сигналов. И еще: на обширном пространстве кочевать легче тем, кто лучше запоминает увиденное и услышанное.

Поскольку растет срок вынашивания и воспитания детенышей и предки успешно превращаются в хищников, внутри стай начинают складываться более или менее устойчивые пары. Развивается способность к звукоподражанию — и в произношении каждого появляются своеобразные черты, „речь“ становится *узнаваемой*. Это помогает быстрее узнавать друг друга. Все названные процессы в какой-то мере завершились к началу производства каменных орудий — 3—2,5 млн лет назад.

Обретая своеобразие, произносимые звуки перестают наследоваться чисто инстинктивно. Появляется культурная преемственность, формируются способы обучения. Но чтобы более полноценно общаться с помощью звуков, нужно уметь слышать себя и подражать другим. Складываются механизмы координации слуха и произношения.

Не меньшее значение для становления языка имеет то, что образ жизни все больше обогащается повседневным трудом. Плоды труда долгое время не отличаются одинаковостью, но сам труд по своим приемам становится все однообразнее. Однообразие, стандартность — это признаки того, что деятельность наших предков организуется с помощью социально заданных дискретных образов.

В этот период — от 2,5 до 0,5 млн лет назад — совершенствуются навыки труда и складывается ряд способностей. Способность контролировать свое произношение — а без этого в принципе невозможна никакая произвольность, а без нее — язык. Способность подражать голосам сородичей. Способность комбинировать в уме дискретные образы и, следовательно, воссоздавать ситуации прошлой и будущей деятельности.

Шимпанзе — а они генетически ближайши́е к человеку существа — отличаются от нас тем, что не обладают по крайней мере двумя способностями. Во-первых, они не могут подражать услышанным звукам. Во-вторых они не чувствуют, что высказывание-жест должно иметь жесткую структуру, а не быть свободной комбинацией значимых единиц. В отличие от высказывания деятельность чаще всего стандартна поневоле — нельзя сначала съесть банан, а потом его очистить.

И наконец, язык немислим без способности улавливать тот план, который делает рев, мычание или воркование речью. Необходимо было научиться слышать то, что говорящий хочет сказать. Сначала план синтаксический: смысловую организацию всего высказывания. Затем план фонетический: организацию самих значимых единиц.

Соответственно уровень человеческой речи мог быть достигнут как минимум в два этапа. Первый — когда цепочки звуковых сгустков стали играть роль наших предложений. К этому времени — 0,5—0,3 млн лет назад — цепочки дискретных образов уже постоянно выражаются в звуках, без этого необъяснимы следы ритуала. И второй — когда множество смысловых единиц выражается комбинациями небольшого числа стандартных звуков. Около ста тысяч лет назад предки человека уже могли произносить и слышать двойственные звуковые сочетания. И сложились местные культуры, основанные на своеобразной системе звукового общения».

Да... До чего же все-таки безапелляционно и безлично выглядит этот текст! А ведь по пути было столько сомнений! И поэтому не хочется завершать даже и «традиционное» заключение такой оптимистической нотой. Во-первых, явно не хватает данных психологии и нейрофизиологии. Можно ли говорить о дискретных образах и механизмах связи слуха и произношения, не обращаясь к работам Г. Ревеша, Ж. Пиаже и Л. С. Выготского? А данные афазиологии, которые позволяют понять многое в принципах индивидуального владения языком, где они? Во-вторых, прозвучали слова «синтаксис» и «фонетика», но к чему они относятся? Ведь сама знаковая система осталась вне обсуждения. В-третьих, ...В общем, нужно думать и думать.

Примечания

Введение в обычном стиле

¹ См.: *Вержбовский А. А.* Основы всеобщей этимологической грамматики языков Земли. Минск, 1969.

² Там же. С. 85—86.

³ Там же. С. 88.

⁴ Там же. С. 89—90.

⁵ *Античные теории языка и стиля.*— М.; Л., 1936. С. 65.

Глава первая

¹ Предлагается соответствующий набор цитат из архетипа, которым является следующая работа: *Морозов Н. А.* Христос. Л., 1926. Кн. 2. М.; Л., 1927. Кн. 3.

«В период рассеянного, блуждающего, газоподобного состояния одиночных обитателей или мелких человеческих стад Земли не могло, конечно, возникнуть у людей никакой отвлеченной мысли. Человеческая речь не могла выйти за пределы простой сигнализации друг другу окружающих явлений внешнего мира посредством небольшого числа членораздельных звуковых символов» (Кн. 2. С. 75).

«В одной своей семье не выработает сложного языка, как в небольшом сосуде не вырастет огромное дерево. Необходимо было постоянное соприкосновение многих семейств на дружеских началах, а это... легче всего могло возникнуть на архипелагах не слишком больших и не слишком малых островов, где основным средством существования служит ловля морских животных» (Кн. 3. С. 144).

Есть два условия развития языка: «Первое из них — психологическое: возникновение болтливости, т. е. желание немедленно сообщать другим, как можно скорее и занимательнее обо всем, что видели и слышали, выдумали и узнали. Потребность скорости заставляла сокращать все распорядительные слова, имеющие лишь косвенное значение, обращая их остатки в префиксы и суффиксы, а потребность занимательности — осложнять фразу придаточными словами и предложениями. Но «недостаточно... одной психологической потребности сообщать, необходимо было иметь и тех, кому можно было все сообщить и которые, в свою очередь, стремились бы сделать как можно скорее и свои ответные сообщения» (Кн. 3. С. 143—144).

«...Архипелаги стали соединяться с сушей, и хлынувшее с них в равнины разноязычное население стало смешиваться в

одно целое, заимствуя друг у друга и корни новых слов, и разнообразные грамматические формы, главным образом тоже через разговорчивость женщин» (Кн. 3. С. 145).

«Только когда образовались достаточно значительные города, и именно в них... и могли впервые возникнуть достаточно развитая речь и способность теоретического мышления» (Кн. 2. С. 76).

² *Геродот.* История в девяти книгах. Л., 1972. С. 80—81.

³ *Бросс Шарль де.* Рассуждение о механическом составе языков и физических началах этимологии. СПб., 1821. Т. 1. С. 9.

⁴ *Introductory readings on language.* N. Y., 1975. P. 3.

⁵ Цит. по: *Тэйлор Э.* Доисторический быт человечества и начало цивилизации. М., 1868. С. 105—106.

⁶ Цит. по: *Бросс Шарль де.* Рассуждение... С. 8.

⁷ *Тэйлор Э.* Доисторический быт... С. 105.

⁸ *Мифы и предания пауасов маринд-аним.* М., 1981. С. 195—196.

⁹ *История лингвистических учений: Древний мир.* Л., 1980. С. 8.

¹⁰ *Мифы и предания пауасов маринд-аним.* С. 197.

¹¹ Цит. по: *Тэйлор Э.* Доисторический быт... С. 165.

¹² Там же. С. 163.

¹³ *Фрэзер Дж. Дж.* Золотая ветвь. 2-е изд. М., 1984. С. 235.

¹⁴ Там же. С. 250.

¹⁵ Цит. по: *Тэйлор Э.* Доисторический быт... С. 162.

¹⁶ *Аристотель.* Сочинения. М., 1976. Т. 1. С. 71.

¹⁷ *Антология мировой философии.* М., 1969. Т. 1, ч. 1. С. 293.

¹⁸ *Платон.* Сочинения. М., 1968. Т. 1. С. 223.

¹⁹ См.: *Лурье С. Я.* Демокрит. Л., 1970. С. 353.

²⁰ *Платон.* Сочинения. Т. 1. С. 417.

²¹ Там же. С. 434.

²² Там же. С. 436—437.

²³ Там же. С. 472.

²⁴ Там же. С. 486.

²⁵ *Античные теории языка и стиля.* М.; Л., 1936. С. 72.

²⁶ Там же.

²⁷ См.: *Эдельштейн Ю. М.* Раннесредневековые учения о происхождении языка // *Языковая практика и теория языка.* М., 1978. С. 180.

²⁸ Цит. по: *Чаттопадхья Д.* Живое и мертвое в индийской философии. М., 1981. С. 374—375.

²⁹ *Томсен В.* История языковедения до конца XIX века. М., 1938. С. 43—44.

³⁰ См.: *Тредиаковский В. К.* Три рассуждения о трех главнейших древностях российских... СПб., 1773. Гл. I: О первенстве словенского языка пред тевтоническим. С. 1—65.

³¹ См.: *Кобие И. У.* Система грамматических понятий и терминов древнегреческого учения о языке: Автореф. дис. ... д-ра филол. наук. Киев, 1973. С. 13.

³² *Эпикур.* Письмо к Геродоту, 75, 76 // *Луcretий.* О природе вещей. М., 1947. Т. II. С. 557.

³³ *Витрувий.* Десять книг об архитектуре. М., 1936. С. 41.

³⁴ *Глаголев А.* О постепенном развитии первообразных языков // *Сочинения в прозе и стихах.* М., 1823. Ч. III. С. 15—28.

(Тр. Об-ва любителей российской словесности при имп. Моск. ун-те).

³⁵ Головин В. А. К проблеме возникновения элементов языка в антропогенезе // Вопросы антропологии. 1961. № 8. С. 144—152.

³⁶ Там же. С. 145.

³⁷ Там же.

³⁸ Библия. Бытие 2; 19, 20.

³⁹ Там же. Бытие 11; 3, 4—9.

⁴⁰ Николай Кузанский. Сочинения. М., 1980. Т. 2. С. 400—401.

⁴¹ Антология мировой философии. М., 1969. Т. 1, ч. 2. С. 611.

⁴² Гоббс Т. Левнафан. М., 1936. С. 52.

⁴³ Там же.

⁴⁴ Рассуждение о начале и происхождении языков. Спб., 1778. С. 22—23.

⁴⁵ Там же. С. 30.

⁴⁶ Гаргли Д. Размышления о человеке, его строении, его долге и упованиях // Английские материалисты XVIII века. М., 1967. Т. 2. С. 348.

⁴⁷ Лейбниц Г. Новые опыты о человеческом разуме. М.; Л., 1936. С. 245.

⁴⁸ Шишков А. С. Опыт рассуждения о первоначали, единстве и разности языков, основанный на исследовании оных // Изв. Рос. Академии. Спб., 1817. Кн. 5. С. 13.

⁴⁹ Шишков А. С. Собрание сочинений и переводов. Спб., 1827. Ч. XI. С. 28.

⁵⁰ Шишков А. С. Опыт... С. 5.

⁵¹ Там же. С. 5—6.

⁵² Шишков А. С. Собрание... Спб., 1825. Ч. IV. С. 344.

⁵³ Костырь Н. Предмет, метод и цель филологического изучения русского языка. Киев, 1849. С. 118—119.

⁵⁴ Цит. по: Шрадер О. Сравнительное языковедение и прабывшая история. Спб., 1886. С. 2.

⁵⁵ Костырь Н. Предмет... С. 135.

⁵⁶ Там же. С. 118.

⁵⁷ Там же. С. 120—121.

⁵⁸ Там же. С. 124.

⁵⁹ Там же.

⁶⁰ Там же. С. 124—125.

⁶¹ Там же. С. 134.

⁶² Там же. С. 135—136.

⁶³ Там же. С. 136.

⁶⁴ Локк Дж. Сочинения. М., 1985. Т. 1. С. 403.

⁶⁵ Лейбниц Г. В. Сочинения. М., 1983. Т. 2. С. 276.

⁶⁶ Там же. С. 289.

⁶⁷ Там же. С. 289—290.

⁶⁸ Кондильяк Э. Б. де. Сочинения. М., 1980. Т. 1. С. 243.

⁶⁹ Цит. по: Гулыга А. В. Учение Гердера о происхождении языка // Вестн. истории мировой культуры. 1960. № 5. С. 51.

⁷⁰ Тюрго А. Р. Критические замечания о труде Мопертью // Избр. филос. произв. М., 1937. С. 16.

⁷¹ Бросс Шарль де. Рассуждение...

⁷² Цит. по: История лингвистических учений: Средневековая Европа. Л., 1985. С. 189.

⁷³ Цит. по: Нуаре Л. Орудие труда и его значение в истории развития человечества. Киев, 1925. С. 45.

⁷⁴ Там же. С. 75—76.

⁷⁵ Маркс К., Энгельс Ф. Из ранних произведений. М., 1956. С. 594.

⁷⁶ Нуаре Л. Орудие труда... С. 41.

⁷⁷ Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 19. С. 377.

Глава вторая

¹ См.: Orton E. F. Links with past ages. Cambridge, 1935. Э. Ф. Ортон описывает «расу пигмеев», которая сформировалась, по его мнению, около 1 млн лет назад, в конце миоцена, в болотистой местности на берегу западно-сибирского моря. Ледниковый период застиг их на южном берегу Сарматского (Каспийского) моря, примерно там, где сейчас проходит северная граница Афганистана и Ирана. Позже пигмеи заняли Иранское плато.

Потомки их, жившие 350 000 лет назад, были «волосатые, неодетые, смуглые, ростом примерно трех футов, умные и подвижные». Прошли тысячи лет, пока они достигли первых успехов в языке. Одновременно с языком они совершенствовались искусство рыбной ловли, постройки плотов, отлова птиц.

Ортон дает список слов языка, существовавшего в это время (с. 6—7): ämäh (мать), baväh (отец), kät (удар, совершенный дубинкой или каменным молотком), häg (человек, мужчина), hüg (женщина), ghäh (большая естественная пещера)... — всего с вариантами около полутора десятков слов.

Второй список — слов языка, существовавшего 250 000 лет назад (с. 24—26): ūg (солнце свет и огонь), rā (нога), wgiik (потеря), i (я), pi (ты) ūa (мое)... — всего 36 слов. В этом языке имя и глагол совпадали. Фактически глагола в ранней речи не было, но существовали приставки и суффиксы для выражения действия именами. До возникновения глаголов существительные изменялись по лицам.

Затем появились предложения (образцы их даются на с. 27): bī (мною) kät (молоток) — «я ударил моим молотком»; bōnā (его) ūz (вода) kup (губы) — «он пьет воду»; bī (мною) rāl (бревна) bāst (связаны) — «я связал бревна вместе» и др. Утверждается, что речь современных бушменов и австралийцев именно такова.

² См.: Лайонс Дж. Введение в теоретическую лингвистику. М., 1978.

³ Цит. по: Звегинцев В. А. История языкознания XIX и XX веков в очерках и извлечениях. М., 1960. Ч. 1. С. 58.

⁴ Там же. С. 61.

⁵ Гумбольдт В. фон. Избранные труды по языкознанию. М., 1984. С. 120.

⁶ Цит. по: Звегинцев В. А. История... С. 62.

⁷ Цит. по: Авенариус Р. Прологомены к «Критике чистого опыта». Спб., 1905. С. 13.

⁸ Цит. по: Звегинцев В. А. История. С. 59—60.

⁹ Мейе А. Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 208.

¹⁰ Цит. по: Гутман Р. Трата и замена в языке. Юрьев, 1900.

С. 11.

¹¹ Там же.

¹² См.: Блумфилд Л. Язык. М., 1968. С. 343.

¹³ Цит. по: Aarsleff H. The study of language in England. 1780—1860. Princeton, New Jersey, 1967. P. 230.

¹⁴ Пауль Г. Принципы истории языка. М., 1960. С. 56.

¹⁵ См.: Потевня А. А. Мысль и язык. 4-е изд. Одесса, 1922.

С. 35.

¹⁶ Пауль Г. Принципы... С. 221.

¹⁷ Там же. С. 227.

¹⁸ Мейе А. Введение... С. 74.

¹⁹ Там же. С. 80.

²⁰ Шахматов А. А. Введение в курс истории русского языка. Пг., 1916. Ч. 1. С. 32.

²¹ Там же. С. 29.

²² Цит. по: Романс Д. Духовная эволюция человека. М., 1905. С. 387—388.

²³ См.: Блумфилд Л. Язык. С. 332—333.

²⁴ См.: Макаев Э. А. Вопросы индоевропейской диалектологии // Проблемы лингво- и этнографии и ареальной диалектологии. М., 1964.

²⁵ Tovar A. Linguistics and prehistory // Word. 1954. V. 10, N 2—3. P. 345.

²⁶ См.: Swadesh M. The origin and diversification of language. L., 1972.

²⁷ См.: Трубецкой Н. С. Мысли об индоевропейской проблеме // Вопросы языкознания. 1958. № 1.

²⁸ См.: Jespersen O. Language. Its nature, development and origin. 9th ed. L., 1949. P. 364 etc.

²⁹ См.: Поцелуевский А. П. К вопросу о древнейшем типе звуковой речи. Ашхабад, 1944.

³⁰ См.: Tovar. Linguistics and prehistory.

³¹ Jespersen O. Language... P. 429.

³² Ibid. P. 430.

³³ Шухардт Г. Избранные статьи по языкознанию. М., 1950.

С. 85.

Глава третья

¹ Цит. по: Бюхнер Л. Психическая жизнь животных. Спб., 1902. С. 3.

² См.: Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. II. С. 8—9.

³ Лукреций. О природе вещей. М., 1946. С. 343, 345.

⁴ Цит. по: Бюхнер Л. Психическая жизнь... С. 6.

⁵ Там же. С. 9—10.

⁶ Рассуждение о начале и происхождении языков. Спб., 1778. С. 11, 17.

⁷ Романс Д. Духовная эволюция человека. М., 1905. С. 190.

⁸ Линдсей П., Норман Д. Переработка информации у человека. М., 1974. С. 420.

⁹ Фридман Э. П. Приматы. М., 1979. С. 11,

¹⁰ Цит. по: Aarsleff H. An outline of language origins theory since the Renaissance // Origins and evolution of language and speech. N. Y.; 1976. P. 7.

¹¹ См.: Camper P. Account of the organs of speech of the orang-outang // Philosophical transactions of the Royal Society. 1779. LXIX. P. 139—159.

¹² См.: Blumenbach J. F. On the natural variety of mankind. L., 1865. P. 83—84.

¹³ См.: Yerkes R. M., Yerkes A. M. The great apes: A study of anthropoid life. New Haven etc., 1929. P. 301.

¹⁴ Лефевр А. Ум животных. Спб., 1873. С. 38.

¹⁵ Там же. С. 230.

¹⁶ Карус Г. Сравнительная психология, или История развития души на различных ступенях животного мира. М., 1867. С. 165.

¹⁷ Гарнер Р. Л. Язык обезьян. Спб., 1899. С. 21.

¹⁸ Там же. С. 67.

¹⁹ Там же. С. 60, 62.

²⁰ Garner R. Gorillas and chimpanzees. L., 1896. P. 74—75.

²¹ Gladden G. A chimpanzee's vocabulary // Outlook. 1914. V. 106. P. 308.

²² Furness W. H. Observations on the mentality of chimpanzees and orang-utans // Proc. Amer. Phil. Soc. Phila, 1916. V. 55. P. 283.

²³ См.: Yerkes R. M., Yerkes A. M. The great apes... P. 308.

²⁴ Yerkes R. M., Learned B. W. Chimpanzee intelligence and its vocal expressions. Baltimore, 1925. P. 154—156.

²⁵ Ibid. P. 60.

²⁶ См.: Marler P. Vocalizations of wild chimpanzees: Recent advance // Primatology. 1. P. 94—100.

²⁷ См.: Pumphrey R. J. The origin of language: An inaugural lecture. Liverpool. 1951: «Всегда было очевидно, что ни социальная жизнь (которая во многом совпадает у человека и общественных животных), ни половая жизнь (практически универсальная) невозможны без определенных коммуникативных способностей; но человек, в своем тщеславии, склонен считать, что у всех, кроме него, выражение этих способностей должно быть смутным и неразвитым» (с. 5). Но в действительности животные и даже насекомые могут очень точно передавать информацию. «Однако информация может быть передана лишь посредством символов, так что в Царстве Животных символы безусловно используются паряду со способностью общения; хотя нужно согласиться с тем, что особые формы и степень связи символов характерна именно для человека» (с. 7).

Вообще говоря, использование символов не имеет никакого отношения к интеллекту. Например, кузнечики издают звуки, которые показывают, что певец ничем не занят или что он испытывает страсть к самке и пр. «Здесь перед нами символический язык, но символы в этом случае являются выражением эмоциональных состояний самца и вызывают соответствующий эмоциональный отклик у слушателей» (с. 12).

В чем же специфика человеческой речи? Очевидно, в широком использовании произвольных символов, связанных преимущественно с интеллектом. Произвольные символы могли

постепенно сформироваться в результате вырождения символов, связанных с эмоциональной сферой. Представляется вероятным, что слово «лев» возникло «в подражание рыку льва или выражению эмоции, соответствующей его присутствию» (с. 22). Вырожденный, ставший произвольным — не связанным с конкретным впечатлением от объекта — символ можно относить как к прошлому, так и к будущему событию.

²⁸ См.: *Донских О. А.* Происхождение языка как философская проблема. Новосибирск, 1984. С. 113—123.

²⁹ См.: *Marler P.* The evolution of communication // *How animal communicate*. Bloomington; London, 1977. P. 53.

³¹ *Schuhardt H.* Liebesmetaphern // *Romanisches und Keltisches*. Berlin, 1886.

³¹ См.: *Шульгин Л. М.* Орнитология. Л., 1940. С. 102.

³² См.: *Лукина Е. В.* Голосовые реакции воробьиных птиц // *Природа*. 1957. № 4. С. 36.

³³ См.: *Ковшарь А. Ф.* Певчие птицы. Алма-Ата. 1983. С. 20—21.

³⁴ Там же. С. 20.

³⁵ Цит. по: *Ковшарь А. Ф.* Певчие птицы. С. 21.

³⁶ *Мальчевский А. С., Голованова Э. Н., Пукинский Ю. Б.* Птицы перед микрофоном и фотоаппаратом. 2-е изд. Л., 1976. С. 17.

³⁷ Там же. С. 15.

³⁸ *Ковшарь А. Ф.* Певчие птицы. С. 26.

³⁹ *Haldane J. B. S.* Animal communication and the origin of human language // *Science progress*. 1955. V. XLIII, N 171. P. 394.

⁴⁰ См.: *Меннинг О.* Поведение животных. М., 1982. С. 112.

⁴¹ См.: *Konishi M.* Locatable and nonlocatable acoustic signals for barn owls // *American naturalist*. 1973. V. 107.

⁴² *Мальчевский А. С., Пукинский Ю. Б.* Роль звуковой индукции в голосовом поведении птиц // *Звуковая коммуникация, эхолокация и слух*. Л., 1980. С. 21.

⁴³ См.: *Мальчевский А. С. и др.* Птицы... С. 36.

⁴⁴ См.: *Ковшарь А. Ф.* Певчие птицы. С. 35.

⁴⁵ *Хайнд Р.* Поведение животных. М., 1975. С. 489.

⁴⁶ См.: *Nottebohm F., Nottebohm M.* Vocalizations and Breeding Behaviour of surgically deafened ring doves... // *Animal behaviour*. 1971. V. 19.

⁴⁷ См.: *Mulligan J. A.* Singing behaviour and its development in the song sparrow... // *Univ. Cal. publ. in zool. (Berkeley)*. 1966. V. 81; *Konishi M.* The role of auditory feedback in the control of vocalization in the white-crowned sparrow // *Z. Tierpsychol.* 1965. 22.

⁴⁸ *Хайнд Р.* Поведение... С. 491.

⁴⁹ См.: *Мальчевский А. С. и др.* Птицы... С. 15.

⁵⁰ См.: *Marler P., Hamilton W.* Mechanisms of animal behaviour. N. Y., 1966.

⁵¹ *Hall-Craggs J.* The aesthetic content of bird song // *Bird vocalizations*. Cambridge, 1969. P. 368.

⁵² *Бюкер К.* Работа и ритм. М., 1923.

⁵³ См.: *Nottenbohm F.* The origins of vocal learning // *The american naturalist*. 1972. V. 106, N 947.

⁵⁴ См.: *Эймас П. Д.* Восприятие речи в младенческом возрасте // *В мире науки*. 1985. № 3,

⁵⁵ См.: *Lenneberg E.* Biological foundation of language. N. Y. etc., 1967.

⁵⁶ См.: *Мальцев В. П., Гершуни Г. В.* Звуковые сигналы у капуцинов и их поведенческое значение // *Звуковая коммуникация, эхолокация и слух*. Л., 1980.

⁵⁷ См.: *Fox M. W., Cohen J. A.* Canid communication // *How animal communicate*.

⁵⁸ *Фирсов Л. А.* Физиологическое изучение голосовых реакций у высших и низших обезьян. М., 1964. С. 2 (Отдельный оттиск).

⁵⁹ *Фирсов Л. А.* Поведение антропоидов в естественных условиях. Л., 1977. С. 54.

⁶⁰ См.: *Green S.* Variation of vocal pattern with social situation in the Japanese monkey (*Macaca fuscata*): A field study // *Primate behaviour. Development in field and laboratory research*. N. Y., 1976. V. 6.

⁶¹ См.: *Struhsaker Th. T.* Auditory communication among vervet monkeys... // *Social communication among primates*. Chicago, 1967.

⁶² См.: *Marler P.* The evolution of communication // *How animal communicate*.

⁶³ См.: *Kellogg W. N.* Communication and language in the home-raised chimpanzee // *Science*. 1968. V. 162, N 3852.

⁶⁴ *Романс Дж.* Духовная эволюция... С. 182.

⁶⁵ Там же. С. 195—196.

⁶⁶ См.: *Kellogg W. N.* Communication... P. 424.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ См.: *Hayes C.* The ape in our house. N. Y., 1951.

⁶⁹ *Yerkes R., Learned B.* Chimpanzee... P. 179—180.

⁷⁰ См.: *Kellogg W. N.* Communication... P. 425.

⁷¹ См.: *Ладьягина-Котс Н. Н.* Дитя шимпанзе и дитя человека в их инстинктах, эмоциях, играх, привычках и выразительных движениях. М., 1935. С. 241—242.

⁷² См.: *Gardner R. A., Gardner B. T.* Teaching sign language to a chimpanzee // *Science*. 1969. V. 165, N 3894.

⁷³ *Фигье Л.* Первобытный человек. Спб., 1870. С. 38.

⁷⁴ См.: *Chomsky N.* Human language and other semiotic systems // *Speaking of apes: A critical anthology of two-way communication with man*. N. Y.; L., 1980.

⁷⁵ *Gardner R. A., Gardner B. T.* Comparative psychology and language acquisition // *Speaking of apes*. P. 329.

⁷⁶ См.: *Bronowski J., Bellugi U.* Language, name and concept // *Speaking of apes*.

⁷⁷ См.: *Weir R.* Language in the crib. The Hague, 1962.

⁷⁸ *Bronowski J., Bellugi U.* Language... P. 110.

⁷⁹ *Lenneberg E.* A word between us // *Speaking of apes*. P. 74.

Глава четвертая

¹ *Фигье Л.* Первобытный человек. Спб., 1870. С. 14.

² *Антология мировой философии*. М., 1969. Т. 1, ч. 1. С. 343—344.

³ Там же. С. 344.

⁴ *Фигье Л.* Первобытный человек. С. 53—54.

⁵ См.: Вейль К. Элементы человеческой культуры. Спб., 1914. С. 59—60.

⁶ Там же. С. 47—58.

⁷ Там же. С. 47—48.

⁸ Елинек Я. Большой иллюстрированный атлас первобытного человека. Прага, 1983. С. 19.

⁹ Ср.: Pilbeam D. Miocene hominoids and hominid origins // *Am. j. of physical anthropology*. 1980. V. 52, N 268. А также см.: Бунак В. В. Род Homo, его возникновение и последующая эволюция. М., 1980; Кларк Дж. Доисторическая Африка. М., 1977.

¹⁰ См.: Crook J. H., Garlan J. S. Evolution of primate societies // *Nature*. 1966. V. 210. P. 1200—1203.

¹¹ См.: Piveteau J. Behaviour and ways of life of the fossil primates // *Social life of early man*. Chicago, 1961.

¹² Цит. по: Джохансон Д., Иди М. Люси: Истоки рода человеческого. М., 1984. С. 271—272.

¹³ Бунак В. В. Род Homo... С. 36.

¹⁴ См.: Lovejoy S. O. Hominid origins. The role of bipedalism // *Am. j. of physical anthropology*. 1980. V. 52, N 250.

¹⁵ См.: Джохансон Д., Иди М. Люси... С. 200.

¹⁶ См.: Leroi-Gourhan A. Le geste et la parole (technique et langage). P., 1964.

¹⁷ См., например: Бунак В. В. Происхождение речи по данным антропологии // *Происхождение человека и древнее население человечества*. М., 1951.

¹⁸ См.: Елинек Я. Большой... атлас... С. 64.

¹⁹ См.: Isaac G. L. Stages of culture elaboration in the pleistocene possible archaeological indicators of development of language capabilities // *Origins and evolution of language and speech*. N. Y., 1976.

²⁰ См.: Бунак В. В. Род... С. 137.

²¹ См.: Елинек Я. Большой... атлас... С. 132; Замягин С. Н. // *Происхождение человека и древнее население человечества*; Борисковский П. И. Древнейшее прошлое человечества. 2-е изд. М., 1980. С. 89—90; Алексеев В. П. Географические очаги формирования человеческих рас. М., 1985. С. 164—169.

²² См.: Данилова Е. И. Эволюция руки. 2-е изд. Киев, 1979. С. 301—305.

²³ Isaac G. L. Stages... P. 277.

²⁴ Данилова Е. И. Эволюция руки. С. 308.

²⁵ Борисковский П. И. Древнейшее прошлое... С. 75.

²⁶ Данилова Е. И. Эволюция руки. С. 316, 317—318.

²⁷ См.: Hewes G. Comments... on Levallois flake tools // *The role of speech in language*. L., 1975. P. 76—81.

²⁸ См.: Oakley K. P. A definition of man // *Science News*. 1951; Marshack A. Upper paleolithic notation and symbol // *Science*. 1976. V. 178. P. 817—828.

²⁹ Любин В. П. Мустьерские культуры Кавказа. Л., 1977. С. 203.

³⁰ См.: Jaynes J. The evolution of language in the late Pleistocene // *Origines and evolution of language and speech*. N. Y., 1976:

«... Человеческий язык развился только в эру, когда определенная часть человеческой популяции упорно оттеснялась

в новые экологические ниши, к которым она не была полностью приспособлена» (с. 312). Основные этапы становления человека и, разумеется, языка он соотносит с четырьмя оледенениями. Все указывает на то, считает Джейнс, что язык особенно продуктивно развивался в период последнего оледенения, в позднем плейстоцене (70 000—8000 лет назад).

В этот период человек, живший ранее в Африке, проникает в подарктические области Евразии, в Австралию, позже — в Америку. Этому способствовало использование огня и меховой одежды. Экологически на развитие языка повлияла именно миграция из саванны в северные районы, где визуальные сигналы были менее эффективными по множеству причин: темнота и дым пещер, охота ночью и пр.

«Первыми реальными элементами речи были, я полагаю, окончания произвольных выкриков, первоначально варьировавшихся просто по их интенсивности, а затем различавшихся более тонко» (с. 317). Варьированием последних слогов они различали, скажем, «близко» и «далеко». Постепенно окончания обособились и стали командами. Затем в определенных ситуациях появляются вопросы и отрицания. И т. д.

³¹ См.: Williams T. On the origin of the socialization process // *Socialization and communication in primary groups*. The Hague; Paris, 1975.

³² См.: Etkin W. Social behavioral factors in the emergence of man // *Culture and the direction of human evolution*. Detroit, 1964. P. 81.

³³ Ibid. P. 85.

³⁴ См.: Файнберг Л. А. У истоков социогенеза. М., 1980. С. 71.

³⁵ Washburn Sh. L., Lancaster C. S. The evolution of hunting // *Man the hunter*. Chicago, 1968. P. 295.

³⁶ См.: Etkin W. Social behavioral factors...

³⁷ Кларк Дж. Доисторическая Африка. С. 63.

³⁸ Там же. С. 65.

³⁹ Там же.

⁴⁰ См., например: Григорьев Г. П. Палеолит Африки // *Палеолит мира: Африка*. Л., 1977. С. 191 и след.

⁴¹ Washburn Sh. L., Lancaster C. S. The evolution... P. 297.

⁴² Ibid.

⁴³ Кларк Дж. Доисторическая Африка. С. 96.

⁴⁴ Григорьев Г. П. Первобытное общество и его культура в мутье и начале позднего палеолита // *Природа и развитие первобытного общества на территории европейской части СССР*. М., 1969. С. 196.

⁴⁵ Борисковский П. И. Древнейшее прошлое... С. 81.

⁴⁶ См.: Там же. С. 213.

⁴⁷ См.: Кларк Дж. Доисторическая Африка. С. 137 и след.

⁴⁸ См.: Окладников А. П. О значении захоронений неандертальцев для истории первобытной культуры // *Советская этнография*. 1952. № 3.

⁴⁹ Токарев С. А. Ранние формы религии и их развитие. М., 1964. С. 166.

⁵⁰ Сухов А. Д. Философские проблемы происхождения религии. М., 1967. С. 199.

Оглавление

- ⁵¹ Поршнева Б. Ф. О начале человеческой истории. М., 1974. С. 126.
- ⁵² См.: Анисимов А. Ф. Исторические особенности первобытного мышления. Л., 1971. С. 65—67.
- ⁵³ См.: Григорьев Г. П. Первобытное общество... С. 201—202.
- ⁵⁴ См.: Blanc A. C. Some evidence for the ideologies of early man // Social life of early man. Chicago, 1961.
- ⁵⁵ См.: Garh S. M., Block W. D. The limited nutritional value of cannibalism // American anthropologist. 1972. V. 106.
- ⁵⁶ См.: Rosiński F. M. Belief and cult in human prehistory // The realm of the extra-human. The Hague; Paris, 1976. V. 2.
- ⁵⁷ См.: Blanc A. C. Some evidence... P. 119.
- ⁵⁸ Кларк Дж. Доисторическая Африка. С. 139—140.
- ⁵⁹ См.: Foster M. L. American indian and old world languages: A model for reconstruction // Paper presented at meeting of the American anthr. ass. N. Y., 1971.
- ⁶⁰ Харрисон Дж и др. Биология человека. М., 1968. С. 78—79.
- ⁶¹ См.: Бунак В. В. Род... С. 103—104.
- ⁶² См.: Lieberman Ph. On the origin of language. N. Y., 1975.
- ⁶³ См.: Спрингер С., Дейч Г. Левый мозг, правый мозг. М., 1983. С. 220—222.
- ⁶⁴ См.: Бунак В. В. Происхождение речи... .
- ⁶⁵ См.: Lieberman Ph., Crelin E. S. On the speech of neanderthal man // Linguistic inquiry. 1971.— V. 11, N 2.
- ⁶⁶ См.: Crelin E. S. The Steinheim skull: A linguistic link // Yale scientific. 1973. N 48.
- ⁶⁷ См.: Lieberman Ph. On the origin... P. 171—177.
- ⁶⁸ См.: Алексеев В. П. Человек: Эволюция и таксономия. М., 1985. С. 281—282.

Введение в высоком стиле	3
Введение в обычном стиле	5
Глава первая. Прогулка по истории, или В лабиринтах здорового смысла (рассказ философа)	12
Былинка про болтливых жен и первую городьбу	—
Предварительное замечание	13
Тропа Псамметиха	15
В грехах мифа	19
Против здравого смысла	24
Вслед за клубочком этимологий	29
От слов к картинкам	34
За языком Адама	43
Тупик всесравнительности	50
С французским путеводителем	61
Былинка про веселого камнетеса	68
У исходного рубежа	67
Глава вторая. С лингвистическим компасом (рассказ язы- коведа)	74
Былинка о счастливой долине и болтуне	—
В джунглях флексии	76
У родника первотворчества	83
По бегущим волнам языков	85
Глава третья. Сквозь фауну (рассказ биолога)	96
Первая встреча с обезьяной	104
Былинка про каменного льва	107
Маршрутами птиц	109
Вторая встреча с обезьяной	120
Глава четвертая. Из фауны в культуру (рассказ антро- полога)	139
В мастерской предков	145
Былинка про то, как люди людьми становились	156
С побирателями к труженикам	157
И еще несколько шагов	171
Традиционное заключение	176
Примечания	180